



ЮЖНАЯ ЛЮБОВЬ



ДВЕ МАРИИ

Б. М. Соколов

М. Н. РАЕВСКАЯ—КН. ВОЛКОНСКАЯ

В ЖИЗНИ И ПОЭЗИИ ПУШКИНА

МОСКВА—1922

Р.Ц. Вх. № 126.

Тир. 1.000 экз

39 типография М. С. Н. Х. „Мосполиграф“ Путинковский, З.

ЮЖНАЯ ЛЮБОВЬ

В сердечной жизни Пушкина есть для его биографов таинственный, загадочный момент.

Многие творения поэта проникнуты глубоким чувством, носят печать сокрытой в тайниках души долгой любви, светлой, нежной, но вместе невысказанной, утаенной.

Зарождение этого глубокого чувства поэта относится к эпохе его южной жизни, его знаменитого юношеского путешествия в 1820 году по Кавказу и Крыму. Но это чувство не умирает и потом; и часто этот милый—тайный для других—женский образ всплывает в его воспоминании.

Кто был предметом этой таинственной, сокрытой от чужих взоров, любви? Пушкин тщательно скрывает его. Даже в своем знаменитом, так называемом „Дон-Жуанском списке“ он не решился поведать бумаге это имя, скрыв его под латинскими буквами NN.

Но, как-будто, эта тайна раскрывается. И теперь выясняется все больше и больше, что предметом этой глубокой, утаенной любви была известная всем нам, будущая самоотверженная жена декабриста Мария Николаевна Раевская, по мужу княгиня Волконская.

Имея в своем очерке ввиду прежде всего изложить поэтическую исповедь этой любви Пушкина, я позволю себе только в самых кратких, беглых чертах изложить внешнюю историю отношений Пушкина и М. Н. Раевской, поскольку она выясняется из имеющихся архивных и мемуарных данных.

Пушкин был всю жизнь близок к той семье, к которой принадлежала Мария Николаевна.

Отец ее был знаменитый герой 1812 г., генерал Н. Н. Раевский, прославившийся, между прочим, тем, что в бою под Дашковой вывел в бой своих двух малолетних сыновей и этим воодушевил солдат.

Это был честный, храбрый воин и при этом прекрасный друг своей семьи. Семья обожала своего отца.

Пушкин всю жизнь глубоко чтит старика генерала.

Сыновья Раевского—старший Александр, и младший Николай—тесно соединены с биографией Пушкина. Умнейший человек своего времени, высоко образованный, но великий скептик в душе, хладнокровный и язвительный Александр Раевский был тем „демоном“, под влиянием которого значительное время находился Пушкин. Это про него Пушкин писал:

Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд...

Младший Раевский—Николай—был совсем другим по душе: сердечный, отзывчивый, большой ценитель литературы, он был задушевым, близким другом Пушкина. Пушкин посвятил ему своего „Кавказского пленника“, хотел посвятить ему „Бахчисарайский фонтан“, писал ему не одно послание... Николай Раевский был неизменным советчиком и первым критиком, кому Пушкин поверял свои произведения. В переписке Пушкина напечатаны многие письма Пушкина и Раевского по литературным вопросам. И это длилось долго. Вспомним хотя бы известную переписку Пушкина с Раевским по поводу „Бориса Годунова“.

В посвящении к „Кавказскому пленнику“ Пушкин писал:

Когда я погибал безвинный, безотрадный,
И шопот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены холодный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили—
Я близ тебя спокойство находил
Я сердцем отдыхал: друг друга мы любили..

Кроме этих двух братьев, в семье Раевских было несколько сестер: Екатерина Николаевна, вышедшая потом замуж за декабриста М. Ф. Орлова, она послужила прототипом для Марины в „Борисе Годунове“; Елена Николаевна—болезненная, ей, может быть, Пушкин посвятил стихотворение: „Увы зачем она блистает“ (1820); Софья Николаевна и, наконец, Мария Николаевна. Со всеми ними Пушкин был хорошо зна-

ком и дружил (например, с Екатериной Николаевной он часто бывал в ее доме, у Орловых в Кишиневе)...

Мы не останавливаемся на матери Раевских—до сих пор мало что было о ней известно. Лишь новые архивные данные (архивы Раевских и Волконских) вскрывают перед нами ее духовный облик. Одно—она была всю жизнь „больше супругой, чем матерью“. (Определение М. О. Гершензона).

Пушкин был дружен с младшим Раевским еще в Петербурге.

Но судьбе угодно было ввести его в тесный круг семьи Раевских во время известного южного путешествия Пушкина. Это было 4 или 5 июня 1820 г., когда генерал Раевский и его сын нашли больного Пушкина в Екатеринославе, обласкали его и взяли с собой на Кавказ.

Для Пушкина наступила счастливая полоса в его жизни. Он с Раевскими ездил на Кавказ, а затем в Крым, пробыл в их обществе приблизительно до 10 сентября, а затем уехал в Кишинев.

В каком он был настроении и какое чувство он питал к Раевским, это видно из его восторженного письма к брату Льву. (Переписка Пушкина, под редакцией В. И. Саитова, т. I, стр. 21—22).

„Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатериненского века, памятник 12 года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери—прелесть, старшая—женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался—счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение; горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда (есть)—увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского“. (Письмо от 24 сент. 1820 г. из Кишинева).

С Марией Раевской Пушкин встретился еще в Екатеринославе. С нею он и совершал свое путешествие по Кавказу и проводил время в Крыму.

Вот что вспоминает об этом сама М. Н. в своих „Записках“:

„Пушкин был принят моим отцом в то время, когда его преследовал Император Александр I за стихотворения, считавшиеся революционными. Отец когда-то принял участие в этом бедном молодом человеке с таким огромным талантом и взял его с собой на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно подорвано. Пушкин никогда этого не забывал; связанный дружбою с моими братьями, он питал ко всем нам чувство глубокой преданности.

Как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. Мне вспоминается, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашел, что эта картина была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет.

„Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам;
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Позже в поэме: „Бахчисарайский фонтан“ он сказал:

„ . . . ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи“.

В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел¹⁾.

Пушкин недолго оставался в разлуке с Раевскими: вскоре, между 12—14 ноября, он приехал в Каменку (имение Раевских в Киевской г.)

¹⁾ Записки кн. М. Н. Волконской. Изд. 2-е, СПб. 1914, стр. 61—62.

и там прогостил несколько месяцев в кругу милой для него семьи и интересных для него лиц: там были Давыдовы—один из них известный декабрист—и Михаил Федорович Орлов—также видный член тайного общества, приезжал туда и Якушкин. Велись споры, беседы, занимались литературой. Одним словом, действительно, собралось „общество умов оригинальных“. Пушкин писал в Каменке свои произведения, в частности обрабатывал своего „Кавказского пленника“, написал там ряд стихотворений. О жизни в Каменке сохранилось чудное описание в послании Пушкина к Василию Львовичу Давыдову из Кишинева (1821).

С Раевскими у Пушкина связь не прерывалась. Вскоре в Кишинев переехала Екатерина Николаевна и ее муж, Орлов. Пушкин был у них ежедневным гостем. К Орловым приезжали их родные, Раевские. „Мы очень часто видим Пушкина, пишет Е. Н. брату Александру в 1821 г., он приходит спорить с мужем о всевозможных предметах“.

Так, в июле 1821 г, ген. Раевский *со всей семьей* приезжал в Кишинев. Пушкин проводил эти дни в доме Орловых.

Вместе с Орловыми Пушкин ездил не раз к Раевским в Каменку—последняя поездка была в ноябре 1822 г.

В августе 1823 г. Пушкин переезжает в Одессу, но и там не прерывает связи с Раевскими, т. к. в Одессе живет Александр Раевский, его „демон“...

Затем в личных сношениях с Раевскими наступает перерыв, так как Пушкин принужден был покинуть юг и переехать в свде псковское имение „Михайловское“.

Приближается роковой 1825 год.

В этом году М. Н. Раевская вышла замуж за кн. Сергея Григорьевича Волконского.

Последний, как увидим, счел нужным известить о своем браке Пушкина.

Судьба М. Н. интересовала Пушкина. Это видно из его поэтического отклика на отказ Олизару (киевскому предводителю дворянства), просившему руки Марии Николаевны. Это было в 1823 году. Этого „Послания к Олизару“ мы коснемся потом.

Вскоре за браком Марии Николаевны последовала политическая буря 1825 года, разметавшая семейный круг Раевских.

Два зятя (Орлов и Волконский), брат по матери—Давыдов, оба сына Раевские—были привлечены к делу. Орлов, Волконский, Давыдов—пострадали, сыновья Раевского оправдались. Несчастье обрушилось на дочерей и особенно на Марию Николаевну.

Об этом последнем событии нам много придется говорить потом.

Как отнесся Пушкин к судьбе М. Н.? Он с ней виделся перед ее отъездом в Сибирь. Это описано самой М. Н. в ее знаменитых „Записках“:

„В Москве я остановилась у Зинаиды Николаевны Волконской, моей третьей невестки, которая приняла меня с такой нежностью и добротой, которых я никогда не забуду: она окружила меня заботами, вниманием, любовью и состраданием. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве и несколько талантливых певиц. Прекрасное итальянское пение привело меня в восхищение, а мысль, что я слышу его в последний раз, делала его для меня еще прекраснее. Дорогой я простудилась и совершенно потеряла голос, а они пели как раз те вещи, которые я изучила лучше всего, и я мучилась от невозможности принять участие в пении. Я говорила им: „Еще, еще, подумайте только, ведь, я больше никогда не услышу музыки!“ Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь; я знала его давно¹⁾... Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения: он хотел передать мне свое „Послание к узникам“ для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой... Пушкин говорил мне: „Я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправляюсь на места, перевалю через Урал, поеду дальше и приду просить у вас убежища в Нерчинских рудниках. Он написал свою прекрасную книгу, которая привела нас всех в восхищение, но в наш край так и не попал“.

Этот знаменитый вечер у кн. Зинаиды Волконской произвел большое впечатление на московское общество. Описание его, кроме „Записок“ самой Марии Николаевны, имеется у кн. Зинаиды Волконской, у Веневитинова, у кн. Вяземского. Позднее, как известно, опи-

¹⁾ Дальше идет вышеприведенное место «Записок», где М. Н. Волконская описывает путешествие Раевских и Пушкина по Кавказу и Крыму.

сание этого вечера составило целый эпизод в поэме Некрасова „Русские женщины“.

М. Н. Раевская уехала к мужу в Сибирь.

В 1828 г. скончался на руках у родственников бедный ребенок Волконских—Николай.

Пушкин отозвался на это событие трогательной эпитафией, которая была переслана М. Н. Волконской. Эпитафия эта дошла до М. Н., переписанной рукой ее отца.

В сиянье, в радостном покое,
У Трона Вечного Отца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

В бумагах Пушкина нашлась записка, выражающая Пушкину благодарность тронутой его отзывчивостью Марии Николаевны.

Она написала на клочке бумаги без подписи:

(Перевод) „В моем положении никогда не знаешь, доставишь ли удовольствие, напоминая о себе старым знакомым. Но все-таки напомните обо мне Александру Сергеевичу. Я поручаю Вам *возобновить* выражение моей благодарности за эпитафию Николиньки. Уметь утешать скорбь матери есть действительное доказательство его дарования и его способа чувствовать“. (И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб. 1903 г.).

Вскоре умер от семейных потрясений, от разлуки с любимой им дочерью старик Н. Н. Раевский (16 сент. 1829 г.).

Пушкин принял близко к сердцу эту смерть. Он написал отзыв на некролог Раевского, в котором, между прочим, указывал: „Желательно, чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека. С удивлением заметили мы непонятное упущение со стороны неизвестного автора некролога: он не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на поля сражений в кровавом 1812, году! Отечество того не забыло“. (Соб. сочинений Пушкина. Изд. Брокгауза и Ефрона, т. IV, стр. 537).

О близких отношениях Пушкина к семье Раевских в эти годы говорит письмо Пушкина к Бенкендорфу, стоящее в связи со смертью Раевского—отца. Приводим в переводе:

А. Х. Бенкендорфу.

18 января 1830 г. Петербург.

Ваше Превосходительство.

Я только что получил письмо, которым Ваше Превосходительство удостоили меня почтить. Видит Бог, что я не сделаю ни малейшего возражения воле того, кто осыпал меня своими благодеяниями. Я бы подчинился этому даже с радостью, если бы я был уверен, что все таки не навлек Его неудовольствия. Вместе с тем, Ваше Превосходительство, я кажется совершенно несвоевременно намерен прибегнуть к Вашей благосклонности, но к этому меня обязывает священный долг. Узы дружбы и благодарности связывают меня с семьей, очень несчастной в настоящее время: вдова генерала Раевского писала недавно мне, прося предпринять какие либо шаги в ее пользу перед теми, голос которых может дойти до Трона Его Величества. Выбор меня с ее стороны уже показывает, насколько лишена она друзей, надежд и каких бы то ни было средств воздействия. Половина семьи сослана, другая часть семьи накануне полного разорения. Доходов едва хватает, чтобы платить проценты на громадный долг. Госпожа Раевская ходатайствует, чтобы ей назначили в виде пенсии полное содержание ее покойного мужа, которую продолжали бы выдавать ее дочерям в случае ее смерти. Этого было бы достаточно, чтобы предохранить ее от необходимости просить милостыню.

Обращаясь к Вам, Ваше Превосходительство, я обращаюсь скорее к воину, чем к министру, и скорее к доброму и отзывчивому человеку, чем к государственному деятелю, чтобы заинтересовать Вас в судьбе вдовы героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была так блестяща и смерть так печальна.

Удостоьте принять, Ваше Превосходительство,
выражение моего высокого уважения.

Остаюсь с почтением Вашим покорным
и послушным слугою Александр Пушкин.

1830 года, 18 января С.-т.-П.

... Пушкин женился, изменилась во многом его жизнь, а связь с семейством Раевских не прерывалась. По прежнему он дружен с Николаем Раевским, по прежнему поддерживает добрые отношения с Орловыми...

Есть ли хоть какие основания думать, что он выкинул из своего сердца и памяти образ последовавшей за изгнанным в далекую, холодную Сибирь женой — Марии Николаевны?..

Таковы главные фактические данные из отношений Пушкина к Марии Раевской и к ее семье.

Но внутренняя сторона этих отношений, жизнь сердца, были скрыты поэтом от чужих взоров. Он доверял свои чувства к Марии лишь стихам, тщательно избегая ее имени или каких-либо конкретных намеков. И все-таки лишь в этой его поэтической исповеди мы находим разгадку его „утаенной любви“...

Внимательное изучение Пушкина, целая научная плеяда даровитых пушкинистов наших лет, тщательный анализ всего литературного наследия знаменитого поэта, изучение пушкинских черновых рукописей и разных редакций его произведений, издание переписки, семейных ценнейших архивов (например, Раевских, Волконских, Тургеневых и многих других), чрезвычайно двинули вперед изучение жизни и творчества гениального поэта.

Раскрываются теперь перед нами многие темные места его биографии и его произведений. Раскрывается перед нами все больше и больше и внутренняя жизнь поэта, жизнь его сердца.

Давно занимала исследователей Пушкина его южная любовь, которая зародилась на лоне чудной кавказской и крымской природы. Но кто была „она“, кто был предметом этой горячей любви?..

Исследователи не раз останавливались на семье Раевских, с которыми проводил дни на Кавказе и в Крыму молодой Пушкин. Но этим вопрос не решался. В семье Раевских было несколько юных девиц. К кому из них влеклось сердце Пушкина?

Мы не будем сейчас останавливаться подробно на этом. Мне кажется, последняя работа об этом П. Е. Щеголева „Утаенная любовь Пушкина“¹⁾—дает определенный ответ: Пушкин был влюблен в самую младшую из сестер—Марию...

Присоединяясь к мнению и многим доводам П. Е. Щеголева, мы позволяем себе в дальнейшем пополнить приведенные им и другими пушкинистами (напр. П. О. Морозовым)²⁾ указания на те или другие произведения Пушкина новыми подтверждениями, а также прибавить

¹⁾ Вошедшая в известную книгу П. Е. Щеголева „Пушкин“. Очерки, изд. 2-е, СПб. Стр. 35—195. Первоначально напечатана в изд. „Пушкин и его современники“, в. XIV.

²⁾ Сочинения Пушкина. Изд. Акад. Наук, т. III и IV

к списку поэтических созданий Пушкина, связанных с его любовью к Марии Раевской, может быть, еще несколько новых.

„Пушкин, говорит М. О. Гершензон, необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих включает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства, надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину“¹⁾.

В отношении стихотворений, интересных для нашей темы, изучение осложняется однако тем, что Пушкин, как мы сказали, тщательно избегал более или менее явных намеков и указаний на Марию Раевскую... В чем же причина?

П. Е. Щеголев справедливо указывает: „Не только надо принимать во внимание обычную щепетильность поэта в делах интимных, но еще надо вспомнить и его связи со всеми членами семьи Раевских, надо подумать о том, сколь дороги для него общение и близость с этой семьей, тогда мы поймем, с какою заботливостью он должен был охранять от чужих взоров тайну своей любви к сестре того Николая Раевского, который в годы зрелости поэта был для него старшим, того Александра Николаевича Раевского, который был „демонном“ Пушкина. Да кроме того, „одной“ мыслью этой женщины, говоря собственными словами поэта, Пушкин дорожил более, чем мыслями всех журналистов на свете и всей публики“²⁾.

Но, добавим, прежде всего угаенность этой любви простекала от ее глубоко интимного бережного характера.

Переходим к обозрению тех произведений Пушкина, которые, на наш взгляд, могут быть связаны с именем Марии Николаевны Раевской и сердечным увлечением поэта ею. В этой главе коснемся главным образом тех произведений, какие написаны до создания „Полтавы“ (1828) и имеют в виду собственно Марию Раевскую, до ее брака с Волконским и до начала ее скорбно-нового пути.

Образ героини „Кавказского пленника“ несет в себе несомненные отражения близкой сердцу молодого поэта Марии Раевской.

¹⁾ М. О. Гершензон. „Образы Прошлого“, М. 19. Очерк „Северная Любовь“, стр. 1.

²⁾ П. Е. Щеголев. Ук. соч., стр. 120—121.

П. Е. Щеголев в своей не раз цитируемой работе „Утаенная любовь“, приводит очень важное свидетельство: „Мария (Раевская) — идеал Пушкинской Черкешенки“, сделанное Вас. Ив. Туманским в письме к своей двоюродной сестре, Софье Григорьевне Туманской¹⁾. П. Е. Щеголев усматривает в этом указание на то, что Пушкин, прочитавший летом 1823 г. В. И. Туманскому „Бахчисарайский фонтан“ и не скрывший от него интимного происхождения поэмы, открыл ему имя своего „таинственного и мучительного предмета“. В приведенной фразе из письма Туманского, П. Е. Щеголев предполагает возможность ошибочного названия черкешенки вместо грузинки „Бахчисарайского фонтана“ и в образе Заремы усматривает отражение личности Марии Раевской. Правда, прежде чем развивать эту мысль, П. Е. Щеголев делает мимоходом более естественное предположение: не имел ли в виду Туманский указать в приведенной фразе „Черкешенку“ — героиню „Кавказского пленника“. Если верно (это), то мы имеем, говорит г. Щеголев, любопытную и ценную подробность к истории создания первой южной поэмы и к истории возникновения сердечного чувства Пушкина“. Однако П. Е. Щеголев склоняется, видимо, больше в сторону вышеприведенного истолкования и в замечании уже более определенно высказывается в его пользу. „Все (приведенные им) соображения, говорит П. Е. Щеголев, позволяют нам предполагать в письме Туманского ошибочность упоминания черкешенки вместо грузинки и, следовательно, допускать, что именно Мария Раевская была идеалом Пушкина во время создания поэмы („Бахчисарайский фонтан“)²⁾.

Но для нас несомненно, что Туманский, упоминая о „черкешенке — идеале Пушкина“, имел в виду не грузинку „Бахчисарайского фонтана“, а черкешенку „Кавказского пленника“. Сам Пушкин выводит нас из сомнения — припомним строфу VII-ю первой песни „Евгения Онегина“:

„Замечу, кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья,
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя

¹⁾ Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов. 1891 г., стр. 54.

²⁾ П. Е. Щеголев. Ук. соч., стр. 154.

Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила;
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира“.

Здесь своим идеалом Пушкин называет *деву гор*, в которой несомненно надо видеть героиню „Кавказского пленника“.

О героине „Бахчисарайского фонтана“ говорится в следующей затем строке приведенной строфы „Евгения Онегина“: „И пленниц берегов Салгира“.

Если припомним, что знакомство с Туманским Пушкин свел в Одессе в 1823 г., когда читал ему „Бахчисарайский фонтан“—тогда же Туманский мог получить интимное признание, в котором Пушкин скоро так каялся,—то для нас покажется особенно важным это упоминание самого Пушкина о „Черкешенке“, как о „своём идеале“ в 1-ой песне „Онегина“, записанной в том же 1823 году.

В дальнейшем мы увидим, как тесно связана приведенная часть строфы, как и вообще строфы 57—59, т.-е. весь конец 1-й песни „Евгения Онегина“,—с В. И. Туманским и неосторожно высказанным ему признанием Пушкина интимного характера о прототипе героинь „Бахчисарайского фонтана“. Но для нас важно сейчас явное стремление поэта подчеркнуть якобы „мечтательное“ происхождение женских образов его обоих южных поэм. Эти образы ему лишь „снились“, они плоды „мечтательной любви“. „Оживлены“ они лишь музою поэта. В черновой рукописи эта мысль еще яснее:

И мне прелестные (воздушные) предметы
Приснились, и душа моя
Их образ милый сохранила
(Тайный полюбила)¹⁾

По отношению к „Бахчисарайскому фонтану“, как увидим, у поэта был повод так настойчиво отрицать интимность, автобиографичность в этой поэме, как бы „заметать следы“ своего неосторожного признанья. Об этом говорят письма поэта.

¹⁾ См. „Евгений Онегин“ Пушкина в Изд. О-ва Люб. Росс. Слов., под редакцией В. Якушкина. М. 1887. Дополнения, стр. 240.

Тем важнее указание приведенной строфы „Евгения Онегина“¹⁾ и относительно героини первой поэмы „Кавказского пленника“.

Это косвенно укрепляет нас в мысли, что Пушкин проговорился Туманскому о реальном прототипе Черкешенки—„своем идеале“, т.-е. Марии Николаевне Раевской.

Поэма „Кавказский пленник“ была написана поэтом на Кавказе летом 1820 года под живым впечатлением кавказского путешествия. с семейством Раевских, окончена поэма также в кругу Раевских в селе Каменке 20 февраля 1821 г., куда приехал Пушкин в гости.

Творчество Пушкина, нужно думать, вдохновлялось вблизи „его идеала“—молодой Марии Раевской. Как ни снисходительно-ироническим стало вскоре же отношение Пушкина к своей поэме, когда он стал видеть ее недостатки, но одна сторона поэмы, по его собственному признанию, заставляла любить ее. Это образ Черкешенки и ее любовь.

„Вы видите, писал Пушкин в черновом письме Н. И. Гнедичу 29 октября 1829 г. из Кишинева, что отеческая нежность не ослепляет меня насчет „Кавказского пленника“, но, признаюсь, люблю его сам, не зная за что. В нем есть стихи моего сердца. Черкешенка моя мне мила, любовь ее трогает душу (трогает меня)“²⁾.

Но что во всей поэме является отзвуками сердечных переживаний поэта, а что в образе молодой Черкешенки должно быть отнесено на долю вызвавшей этот образ к жизни юной Марии, в чем заключается „правда“ и в чем „вымысел“,—мы, за неимением данных, от попыток ответить на эти вопросы воздерживаемся. Одно, впрочем, обращает особенное наше внимание—это „страстность“ героини поэмы; как будто бы, эта черта так мало соединяется с привычным для нас образом Марии Николаевны Раевской, (точнее кн. Волконской, так как о девичьих годах жизни М. Н. у нас очень мало сведений), но мы столкнемся вновь с этим затруднением, как только перейдем к другим произведениям Пушкина, связанным, как думается, также с личностью Марии Нико-

1) Негодовать Пушкину и протестовать в письмах к друзьям по поводу героини „Кавказского пленника“ было поздно. „Кавказский пленник“ был уже давно напечатан, „Бахчисарайский же фонтан“ еще только сдавался в печать.

2) Переписка Пушкина. Под ред. В. И. Сaitова, т. I, стр. 42.

лаевны. Другое, что уже более согласуется с известным обликом Марии Волконской, это высокое чувство самоотвержения, самоотказа во имя другого человека. Черкешенка предпочла дать свободу своему возлюбленному и лично умереть. Впоследствии Мария Раевская предпочла облегчить страдания изгнанника— мужа и надолго погребсти себя в далекой Сибирской пустыне. Кто знает, может быть, чуткий Пушкин уже рано заметил в молодой Марии силу ее воли и готовность к самоотвержению!...

В той же Камёнке среди семейства Раевских, одновременно с окончанием „Кавказского пленника“, Пушкин в начале декабря 1820 г. пишет свою прочувствованную элегию „Таврическая звезда“, за уничтожением Пушкиным позднее этого заглавия, более известную по своей первой строке: „Редает облаков летучая гряда“. Элегия эта вспоминает сравнительно недавние крымские впечатления и какую-то „деву“.

Редает облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда.
Твой луч осеребрил увядшие равнины
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине,
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройно тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думой полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во тьме тебя искала
И именем своим подругам называла.

Пушкин придавал исключительно интимное значение последним строкам, упоминанию об этой юной деве. Но здесь произошла вновь-обычная история с интимными признаниями поэта. Друзья поспешили напечатать эту элегию во всей ее неприкосновенности. Элегия была напечатана в „Полярной Звезде“ в 1824 г. Это страшно взволновало Пушкина. „Конечно, я на тебя сердит, писал Пушкин Бестужеву, и

готов с твоего позволения браниться хоть до завтра. Ты напечатал именно те стихи, о которых именно я просил тебя: ты не знаешь, до какой степени *это мне досадно*. Ты пишешь, что без трех последних стихов элегия не имела бы смысла. Великая важность!" (Письмо Бестужеву от 18 января 1824 г.)¹⁾ Через несколько месяцев Пушкин вновь журит Бестужева, напечатавшего без его согласия несколько строк из письма к издателю „Полярной Звезды“ по поводу происхождения поэмы „Бахчисарайский фонтан“: „Посуди сам, мне случилось когда-то быть влюбленным без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии. Но приятельское ли дело вывешивать на показ мокрые мои простыни. Бог тебя простит, но ты осрамил меня в нынешней „Звезде“, напечатав три последних стиха моей элегии. Чорт дернул меня написать еще некстати о „Бахчисарайском фонтане“ какие-то чувствительные строчки и припоминать тут же *элегическую* мою красавицу! Вообрази мое отчаяние, когда я увидел их напечатанными! Журнал мог попасть в ее руки; что она подумает, видя, с какой охотой беседуют о ней с одним из петербургских приятелей? Обязана ли она знать, что она мной не названа, что письмо распечатано Булгариным, что проклятая элегия доставлена тебе чорт знает кем, и что никто не виноват? *Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я более, чем мыслями всех журналистов на свете и всей нашей публики.* Голова у меня закружилась. Я хотел просто напечатать в „Вестнике Европы“ (единственный журнал, на который не имею право жаловаться), что Булгарин был не вправе пользоваться перепиской двух частных лиц, еще живых, без согласия их собственного. Но перекрестясь передал все это забвению. Отзвонил и с колокольни долой (Письмо Бестужеву 29 июня 1824 г.)²⁾

Но кто был этой „элегической красавицей?“ Пушкин в приведенном письме отождествляет ее с той женщиной, которой посвящены в письме „чувствительные строки“ по поводу „Бахчисарайского фонтана“, напечатанные Булгариным. Вот эти строчки:

¹⁾ Переписка Пушкина. Под редакц. В. И. Саятова. Т. I, стр. 95—96.

²⁾ То же, I, стр. 121—122.

„Недостаток плана („Бахчисарайского фонтана“) не моя вина. Я суеверно переделывал в стихи рассказ молодой женщины.

Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naive ¹⁾.

Итак, юная дева элегии („элегическая красавица“) и „молодая женщина“, рассказывающая поэму о Бахчисарайском фонтане—одно лицо. Так понимали пушкинисты и отсюда делали заключения о ее реальной личности. Мы позволяем себе оставить в стороне гипотезу М. О. Гершензона о кн. М. А. Голицыной—„северной любви“ поэта, бывшей, по его предположению, как раз этой особой ²⁾. Гипотеза Гершензона подробно рассмотрена и, нам кажется, весьма убедительно опровергнута П. Е. Щеголевым ³⁾. Вполне прав редактор Брокгаузовского издания сочинений Пушкина С. А. Венгеров по поводу этой предполагаемой М. О. Гершензоном „северной любви“: „Тогда вопрос окончательно запутывается, потому что все любовные стихотворения 1820 г. определенно говорят о любви, зародившейся в Крыму, на берегу Черного моря, меж хат татарских“ ⁴⁾. Бесконечно более правы те исследователи Пушкина, которые как „Бахчисарайский фонтан“ (об этом будем говорить ниже), так и прекрасную элегию „Редет облаков летучая гряда“ связывают с личностью одной из сестер Раевских. Мы уже имели основание видеть, что более вероятным предметом увлечения Пушкина в эпоху знаменитого его южного путешествия была юная Мария Раевская. Такова точка зрения в отношении разбираемой элегии и проф. Н. Ф. Сумцова ⁵⁾ и П. Е. Щеголева ⁶⁾. Проф. Н. Ф. Сумцов пишет так: „К одной из дочерей Раевского

¹⁾ Переписка Пушкина. Под ред. В. И. Саитова. Т. I, стр. 99.

²⁾ М. О. Гершензон „Образы Прошлого“. См. очерк „Северная любовь“.

³⁾ П. Е. Щеголев, в ук. соч. Сам М. О. Гершензон, перепечатывая свою статью „Северная любовь“ в книге „Мудрость Пушкина“ 1920 г., опустил (правда, без всякого упоминания) все, что говорилось им раньше о М. Голицыной. Таким образом сам автор отказался от своей гипотезы.

⁴⁾ Пушкин. Изд. Брокгауза и Ефрона, т. II, стр. 555, примечание редактора.

⁵⁾ Проф. Сумцов Н. Ф. Исследование о поэзии Пушкина. Харьковский Университетский Сборник в память Пушкина. Харьков 1900, стр. 210.

⁶⁾ П. Е. Щеголев. Ук. соч., стр. 115 и след.

Елене или Марии (далее уже Сумцов определенно называет Марию— стр. 213), Пушкин питал глубокое чувство любви, которое, однако, тщательно скрывал из деликатного чувства уважения к любимой девушке и всему ее семейству. Образ этой девушки в воспоминаниях Пушкина неразрывно был связан с Тавридой, занимал его воображение три года сряду, несмотря на частые временные увлечения поэта. К идеальной, чистой крымской любви нашего поэта относится элегия 1820 г. „Редает облаков летучая гряда“.

Приводя вышецитированное письмо к Бестужеву от 29 июня 1824 г., Н. Ф. Сумцов замечает: „Несмотря на выражение: „когда-то“ („мне случилось когда-то быть влюбленным без памяти“), в последних строчках письма (относительно высокой ценности для поэта мнения этой женщины) сквозит еще сильный остаток от идеальной, чистой крымской любви, а между тем письмо написано спустя четыре года после пребывания поэта в Крыму“.

Пушкин ревностно оберегал тайну своей любви. В дальнейших изданиях это стихотворение Пушкин печатал без последних, столь для него интимных, трех строк. В целях затушевания личного биографического элемента, Пушкин заменил первоначально стоявшее в элегии слово: „таврические волны“ более общим выражением: „полуденные“. Следует заметить, что первоначально эта элегия имела заглавие: „Таврическая Звезда“. Нам понятна причина, почему Пушкин предпочел в конце-концов оставить элегию без заглавия¹⁾. При разрешении вопроса, кому посвящена эта элегия, следует обратить внимание на одну фразу черновика приведенного выше письма Пушкина к Бестужеву, выпущенную в чистовом. „Они (стих. „Редает облаков . . .“) относятся к женщине, которая читала их“²⁾. Элегия писана в Каменке в семье Раевских; нет ничего невероятного в том, что Пушкин имел возможность напомнить М. Н. Раевской о своем крымском увлечении ею и, видимо, о тогдашней симпатии с ее стороны.

Уже после написания настоящей работы, через И. Н. Розанова, мы узнали, что Вячеслав Ив. Иванов, толкуя в руководимом им пушкин-

¹⁾ Ср. примечание к этому стихотв. Н. О. Лернера во II т. издания соч. Пушкина, под ред. Венгерова.

²⁾ П. Е. Щеголев. Ук. соч., стр. 117.

ском семинарии это стихотворение, обратил внимание на его последние заключительные строчки, столь неясные по своему смыслу:

„И дева юная во тьме тебя (т.-е. Таврическую звезду) искала
И именем своим подругам называла“.

В. И. Иванов объяснил, что в католическом мире Венера (Таврическая звезда) носит, между прочим, название „Звезды Марии“.

А если, действительно, Пушкин имел в виду как раз это название, то мы находим тогда полное подтверждение тому, что под юной девой надо разуместь юную Марию Раевскую.

Внутренне связанной с элегией „Редет облаков летучая гряда“ является элегия „Ненастный день потух“, написанная в 1824 г.

Ненастный день потух, ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой,
Как привидение, за роцею сосновой
Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой.
Там море движется роскошной пеленой
 Под голубыми небесами...
Вот время: по горе идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвеньи не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
.....
Никто ее любви небесной не достоин,
Неправда ль, ты одна... ты плачешь... я спокоен;
.....
Но если

С рассмотренной выше элегией „Редет облаков летучая гряда“ проф. Н. Ф. Сумцов тесно связывает это стихотворение 1824 г. (сентябрь, почти одновременно с „Разговором книгопродавца с поэтом“) ¹⁾— „Не-

¹⁾ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. Под указанной датой.

настный день потух“, видя в них общий поэтический мир. Оба стихотворения, по его мнению, внушены одной и той же крымской любовью поэта ¹⁾).

„Редеет облаков“ и „Ненастный день потух“, говорит проф. Н. Ф. Сумцов, две стороны одной и той же монеты, одного художественного настроения. В обеих элегиях один ход мысли, одни приемы творчества..... В первой элегии вечерняя звезда напоминает поэту о другом вечере в чудном теплом краю, во второй—взошедшая туманная луна вызывает тожественное воспоминание... В первой элегии поэт вспоминает о своих странствованиях по горам, во второй его воображению рисуется милая девушка на горе. Море и там, и здесь почти в тех же очертаниях: в первой элегии „сладостно шумят таврические волны“, во второй—любимая женщина идет „к брегам, потопленным шумящими волнами“. Разница в описании пейзажей, добавим мы, противопологаемых в обеих элегиях чудной крымской природе, объясняется различием тех мест, где Пушкин писал оба свои стихотворения. Элегия „Редеет облаков“ написана среди осенней малорусской природы, в Каменке Киевской губернии, элегия „Ненастный день потух“—написана осенью в северной псковской деревне. Отсюда разница в колорите. Контраст во второй элегии между ненастным, туманным севером и роскошной сияющей природой Крыма сильнее, чем между малорусской и крымской природой первой элегии: оттого и настроение, проникающее вторую элегию, острее, мрачнее и воспоминания приобретают большую яркость, а чувство—большую страстность. Но при всем том отмеченное Н. Ф. Сумцовым единство стиля, образов и основного настроения обоих стихотворений стоит вне сомнения и с значительной долей вероятности нужно думать, что оба стихотворения посвящены одной и той же крымской любви и связаны с одной и той же любимой девушкой, Марией Раевской.

Взгляды Сумцова на элегию: „Ненастный день потух“ были приняты П. О. Морозовым ²⁾). Мы, как-будто, можем указать новые подтверждения. В черновых рукописях Пушкина сохранилось два отрывка-

¹⁾ Н. Ф. Сумцов. Ук. соч., стр. 212—213.

²⁾ Соч. А. С. Пушкина. Под редак. П. О. Морозова. Прим.

наброска, которые исследователями Пушкина считаются черновиками 33-й строфы Евгения Онегина, той знаменитой строфы, которая, как мы видели, по собственному указанию Раевской (Волконской), относилась к ней. Однако исследователей сильно смущала дата при первом из этих набросков—16 августа 1822 г. в то время, как известно, что Пушкин сам точно указал дату начала романа: Кишинев, 1823 г. 9 мая (Ср. П. Е. Щеголев. Ук. соч., стр. 158, И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг Пушкина, СПб. 1903, стр. 46 и IX). П. Е. Щеголев, нам кажется, очень удачно объяснил это противоречие тем, что первоначально эти наброски не имели в виду романа „Евгений Онегин“ (тем более, что к нему поэт и не приступал), а представляли самостоятельные поэтические замыслы, лишь отчасти использованные впоследствии в виде 33 строфы „Евгения Онегина“ ¹⁾. Но нет никакого сомнения, что эти наброски и сама строфа посвящены одному и тому же моменту сердечной жизни поэта—его увлечению юной М. Н. Раевской в крымский период его жизни. Вчитываясь в эти наброски, мы сразу же улавливаем средство их с приведенной элегией „Ненастный день потух“.

Приведу их:

За нею по наклону гор
Я шел дорогой неизвестной
И примечал мой робкий взор
Следы ноги ее прелестной—
Зачем не мог ее следов
Коснуться жаркими устами?
Нет, никогда средь бурных дней
Мятежной юности моей
Я не желал с таким волнением
Лобзать уста молодых Цирцей
И перси полные томленьем..

А вот другой набросок:

Ты помнишь: море пред грозой.
У моря—ты. Близь моря.
Могу ли вспомнить равнодушный...
Она. Я помню берег. Она. Над морем ты
Мне понятно. А ты, кого *назвать не смею*...

¹⁾ П. Е. Щеголев. Ук. соч., стр. 162.

Она стояла над волнами над скалой
Как я завидовал волнам —
Бурными рядами чередою
Бегущими издали послушно
С любовью пасть к твоим ногам.
Как я желал
И целовать,
И о, как я желал с волнами
Хоть милый след
Коснуться ног твоих устами...¹⁾

В обоих отрывках поэт создает ту же, в общем, картину, что и в элегии „Ненастный день“:

По горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами,
Там, под заветными скалами
Теперь она сидит печальна и одна...

В первом отрывке поэт следует за „ней по склону гор“, во втором „она“ стоит под скалою над бурными волнами, бегущими к берегу и послушно лежащимися на берег.

Во всех трех поэтических картинах мы видим изображение необузданной горячей страсти.

В стихотворении „Ненастный день“ —

Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует,
Никто ее колен в забвеньи не целует,
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.

В первом отрывке:

Зачем не смел ее следов
Коснуться жаркими устами?
Нет, никогда ередь бурных дней
Мятежной юности моей
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых Цирцей.—
И перси полные томленьем!
(Как я желал
Сей милый след).

¹⁾ Оба отрывка напечатаны П. Е. Щеголевым в ук. соч., стр. 161—163.

То же и во втором:

„Как я желал... и целовать... И о, как я желал с волнами хоть милый след коснуться ног твоих устами...“

Воспоминанием о приливе какой-то безумной внезапной страсти веет от всех этих трех стихотворных излиятий.

Вполне определенная связь приведенных черновых набросков с известной строфой „Евгения Онегина“ не оставляет сомнений, кто была предметом этого горячего увлечения молодого, пылкого поэта.

„А ты, кого назвать не смею“, говорит влюбленный Пушкин в приведенном черновом наброске, и не решается поведать это имя бумаге. Но „она“ сама раскрыла нам эту тайну. Мы видели, что в своих „Записках“ М. Н. Раевская определенно указывает, что чудная строфа— воспоминание, вставленное в „Евгения Онегина“, относится ни к кому другому, а именно к ней.

М. Н. признает, что Пушкин был увлечен ею, но в „Записках“, написанных ею уже в пожилых годах и с определенной целью рассказать детям о своих страданиях, она естественно бессознательно, а более вероятно и сознательно, уменьшила силу увлечения Пушкина. Не даром она привела только первые стихи всей этой строфы.

Все место о Пушкине в „Записках“ М. Н. Волконской мы привели выше. Приведем теперь всю интересующую нас строфу из „Евгения Онегина“:

Я помню море пред грозой,
Как я завидовал волнам.
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда среди пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста молодых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем:
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей...

Следя дальше за произведениями Пушкина, так или иначе связанным с М. Н. Раевской; мы должны задержать внимание читателя на „Бахчисарайском фонтане“ (1821—1823 гг. Кишинев-Одесса).

Поэма эта имеет несомненную связь с увлечением поэта М. Н. Раевской. Сама М. Н., как мы видели, говорит об этом в своих „Записках“: „Позднее, в поэме „Бахчисарайский фонтан“ он сказал:

. . . ее очи
Яснее дня
Темнее ночи“...

Это, как известно, слова из характеристики грузинки Заремы.

Но кто с тобой
Грузинка, равен красотой?
Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?

Но, спросим мы — неужели образ Заремы связан с Марией Раевской? Ответ должны дать утвердительный, так как за это говорят приведенные показания самой М. Н. Раевской в ее „Записках“, во-вторых — свидетельство графа Капниста.

„Я слышал, говорит он, что Пушкин был влюблен в одну из дочерей генерала Раевского и провел несколько времени в его семействе в Крыму, в Гурзуфе, когда писал свой „Бахчисарайский фонтан“. Мне говорили, что впоследствии, создавая „Евгения Онегина“, Пушкин вдохновлялся этой любовью, которой он пламенел в виду моря, лобзавшего прелестные берега Тавриды, и что к предмету этой любви относится художественная строфа, начинающаяся словами: „Я помню море пред грозою“ („Русский Сборник“ 1899, май, стр. 242. У Щеголева стр. 155).

Вполне определенно поэму „Бахчисарайский фонтан“ связывает с именем Марии Раевской тот самый Олизар, который так безнадежно

добивался руки юной Марии. В своих „Воспоминаниях“ он говорит „Пушкин написал свою прелестную поэму для Марии Раевской“¹⁾.

Образ страстной Заремы в сопоставлении с Марией Раевской, как мы ее знаем, может смутить на первый взгляд. Но прав и П. Е. Щеголев, говоря: „Но еще спорный вопрос, соответствует ли действительности обычное представление о М. Н. Раевской. Ведь Мария Раевская в сущности нам неизвестна, мы знаем только княгиню Волконскую, а образ Волконской в нашем воображении создан не непосредственным знакомством и изучением объективных данных, а в известной мере мелодраматическим изображением в поэме Некрасова“. (Щеголев. Ук. соч.; стр. 151).

Не останавливаясь сейчас подробно на женских образах „Бахчисарайского фонтана“, мы напомним лишь, что нам раньше уже пришлось встретиться с таким же недоуменным вопросом по поводу „элегической красавицы“ Пушкина, героини его элегий „Редет облаков..“ и „Ненастный день потух“ и поэмы „Кавказский пленник“.

Элегическая же красавица безусловно, как мы видели, по словам Пушкина, тождественна с той женщиной, которая „своими милыми и наивными устами“ сообщала Пушкину легенду о „Бахчисарайском фонтане“ и которая вдохновила поэта, когда он творил о нем свою поэму. Это, по всем данным, была Мария Раевская.

Таким образом, сходство женского образа во всех приведенных произведениях лишь подкрепляет единство их жизненного прототипа.

Впрочем, как это нередко бывало у Пушкина, один и тот же образ мог выявиться не в одном персонаже, а в двух: в данной поэме в Зареме и в Марии.

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне, чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?

¹⁾ Ср. П. Е. Щеголев, ук. соч., стр. 148 со ссылками на Pamiętniki (1799—1865) Густава Олизара. Lwów 1892, стр. 174. Эти воспоминания изложены и отчасти переведены А. Ф. Копыловым в „Русск. Вестнике“ 1893 г., август и сентябрь.

Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ровностью дыша,
Средь опустелого гарема...

Поэт соединяет эти образы воедино и сравнивает с ними предмет своей любви:

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную...
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
Безумец! полно, перестань!
Не растравляй тоски напрасной
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань.—
Опомнись! долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать,—
И в свете лироку нескромной
Свое безумство разглашать?
Забудь мучительный предмет
Любви отверженной и вечной.

Анализ „Бахчисарайского фонтана“ мог бы дать много для понимания владевшей поэтом любви. Прав современный наш историк литературы ак. Н. А. Котляревский, говорящий: „Бахчисарайский фонтан“—песнь любви, песнь личных интимных воспоминаний, своего рода перл любовной лирики, вставленный в оправу художественных описаний природы... Субъективность художника сказывается в глубоком понимании психологии любви, любви то страстной, то примиренной с отказом, то нежной и воздушной, неуловимо тонкой“...¹⁾ До нас дошло еще одно свидетельство самого Пушкина об отражении в этой поэме собственных сердечных переживаний поэта. В письме к брату от 25 августа 1823 г. Пушкин пишет: „Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врет, например, он пишет в Петербург письмо, где говорит, между прочим, обо мне: „Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte feuile, любовь и проч...“ Фраза, достойная В. Козлова, дело в том, что я прочел ему отрывки из „Бахчисарайского

¹⁾ Н. А. Котляревский. Литературные направления Александровской эпохи. II. 1917, стр. 176—176.

фонтана“ (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы—помогите“¹⁾).

Пушкин, как мы видели, был очень обеспокоен оглашением интимно-сердечной стороны поэмы. Он хочет сам „выпустить из нее любовный бред“ (в том же письме), и, посылая поэму Вяземскому, сообщает ему, что выбросил из нее „то, что не хотел выставить перед публикой“.

Безусловно, на наш взгляд, в связи с этими тревогами стоят заключительные строфы I песни „Евгения Онегина“, которая как раз в это время (к 1823 г.) оканчивалась поэтом.

Прежде чем привести их, напомним, что как раз этот же Туманский и свидетельствует, что идеалом Пушкина была Мария Раевская (ср. выше).

VII.

Замечу кстати, все поэты—
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
„О ком твоя вздыхает лира?“
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?

VIII.

Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?“

1) Переписка Пушкина. Под ред. В. И. Саитова, т. I. стр. 75—76.

И, други, никого, ей Богу
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя во след,
Он муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

Стоит только сравнить особенно последнюю строфу с упоминанием о Петрарке с приведенным письмом, чтобы у нас не осталось и тени сомнения, что речь идет об одном и том же предмете.

Кстати, письмо было написано 25 августа 1823 г., 16 августа была написана приведенная выше XXIII строфа „Евгения Онегина“ с воспоминанием о Марии Раевской, убегающей от волн на берегу моря, а 22 октября окончена 1-ая песнь „Евгения Онегина“. Все это подкрепляет мысль об единстве переживаний поэта в это время и дает почвѣ для сделанных выше замечаний об отражении во всех этих произведениях Пушкина одного и того же сердечного момента. В то же время, когда создалась поэма „Бахчисарайский фонтан“ (1823 г.), Пушкин написал знаменитое стихотворение „Разговор книгопродавца с поэтом“. Там находится место с явным указанием на владевшую сердцем Пушкина любовь. П. Е. Щеголев показал, какую близкую связь имеет это место „Разговора“ с черновыми набросками отдельных мест „Бахчисарайского фонтана“. В набросках много говорится о переживаемой мучительной любви, „о любви отверженной и вечной“ и вместе с тем выражение веры „что если кто и может понять его и его безнадежные страдания, так это только одно сердце, бьющееся в груди мучительного „предмета“. (Ср. Щеголев, стр. 148).

Вот эта исповедь Пушкина с явными уже намеками на его „южную“ любовь.

Книгопродавец.

Люблю ваш гнев. Таков поэт!
Причины ваших огорчений

Мне знать нельзя, *но исключений*
Для милых дам ужели нет?
Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей
И ваших песен не присвоят
Всесильной красоте своей?
Молчите вы.

Поэт.

Зачем поэту
Тревожить сердца тяжкий сон?
Бесплодно память мучит он.
И что ж? Какое дело свету?
Я всем чужой. Душа моя
Хранит ли образ *незабвенный*,
Любви блаженство *знал ли я?*
Тоскою ль долго *изнуренный*
Таил я слезы в тишине?
Где та была, *которой очи*,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?
.
И что ж докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем.
Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено
(С кем поделюсь я *вдохновеньем?*)
Одна была, пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви, поэзии святой.
Там, там, где тень, где лист чудесный
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.
Ах, мысль о той душе завялой
Могла бы юность оживить,
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить,

Она одна бы разумела
Стихи *неясные* мои,
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви.
Увы, напрасные желанья,
Мольбы, тоски души моей,
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, ненужны ей..

Через пять лет, именно в тот же год, когда Пушкин писал „Полтаву“ (1828), можно думать ¹⁾ написано превосходное стихотворение: „*Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной*“, стихотворение, созданное под впечатлением музыкальной грузинской мелодии, сообщенной А. С. Грибоедовым известному композитору М. И. Глинке и им музыкально обработанной. Музыка, знакомый кавказский мотив, всколыхнули в душе поэта кавказские картины и сердечные воспоминания. Еще П. И. Бартенева связывал это мелодическое стихотворение с воспоминаниями о кавказской жизни поэта в 1820 г. „Глубокая задушевность этих стихов, говорит Бартенева, заставляет думать, что они связаны с каким-нибудь действительным случаем, и в них, может быть, заключена какая-нибудь биографическая черта. Но подробностей, разумеется, нечего спрашивать“ ²⁾.

Вспомним это стихотворение:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной.
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний—
Увы, напоминают мне
Твои жестокие напевы
*И степь, и ночь, и при луне,
Черты далекой бедной девы.*

¹⁾ Ср. Н. О. Лернер. Дни и труды Пушкина, также Н. О. Лернер—примечания к стихотв. Соч. Пушкина, изд. Брокгауза и Эфрона, т. II, стр. 67—68; подробно в ст. М. А. Цявловского. Два автографа Пушкина, изд. Л. К. Бухгейма, М. 1914.

²⁾ П. И. Бартенева. Пушкин в южной России. 2-е изд. 1914.

Я призрак *милый, роковой*,
Тебя увидев, забываю,
Но ты поешь, и предо мной
Его я вновь воображаю.
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

С этой же таинственной, скрытой поэтом любовью, загоревшейся там на юге, связывает эти стихи и Н. О. Лернер¹⁾: „Страстная мелодия Глинки пробудила в душе Пушкина полузабытое мучительное чувство, повесть его сердечной жизни снова раскрылась перед ним на самой заветной странице, которую он старался забыть, но к которой иногда все-таки возвращался. Об этих переживаниях говорят такие моменты в его творчестве, как посвящение Полтавы с воспоминанием „о далекой пустыне“, или Онегинские стихи (7, ЦИ): „в мысли нам приходит средь поэтического сна иная, странная весна и в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи и луне“. Во всех этих местах Пушкин рисует сходными чертами вполне конкретную картину, в которой нельзя не видеть прямое воспроизведение действительности“.

Роковой и милый призрак этого стихотворения Н. О. Лернер отождествляет как-раз с тем лицом, о котором он подробно говорит по поводу загадочных инициалов NN так называемого Дон-Жуанского списка и которому приписывает посвящение Полтавы. А таким лицом, как мы уже неоднократно видели, была именно М. Н. Раёвская. Вполне определенно именно с ней, М. Н. Раевской, соединяет это, разбираемое нами, стихотворение М. А. Цявловский, издавший недавно его интересный автограф-черновик. В черновике нашлась пропущенная Пушкиным для печати строфа, вполне определенно подтверждающая, что стихотворение это воспроизводит действительность, является отражением пережитого.

Напоминает мне она
Кавказа горные вершины,
Лихих чеченцев на коне,
И закубанские равнины.

¹⁾ Комментарий к этому стихотворению в издании сочинений Пушкина Брокгауза и Эфрона.

Об отношении этого стихотворения к Марии Раевской мнение М. А. Цявловского нам кажется вполне убедительным. Пушкин, как мы уже неоднократно уверялись, тщательно старавшийся утаить от публики эту страницу своей глубокой любви и затушевать все мало-мальски ясные намеки, и в переработке этого стихотворения к печати употребил тот же прием.

Отметим еще одну из замен, произведенных Пушкиным в этом стихотворении. В первоначальном отрывке говорилось, что напевы напоминают ему „черты далекой, *милой* девы“. В печатном тексте видим замену эпитета „милой девы“—„бедной девы“. Не выражение ли это таившегося глубокого чувства в душе поэта к бедственной судьбе Марии Раевской, страдавшей в это время в далекой Сибири?

ДВЕ МАРИИ

Переходим к основной части нашей работы, к прославленной Пушкинской поэме „Полтава“.

Этой поэме, написанной Пушкиным, как известно, в течение нескольких недель октября 1828 года (1-ая песня окончена 3-го октября, 2-ая — 9-го и 3-я — 16-го), созданной в порыве его бурного и страстного упоения звуками и поэтическими образами, предпослано таинственное посвящение.

Посвящение это написано несколько позднее самой поэмы, именно 27 октября 1828 г. Вот оно:

Тебе—но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет непризнанное вновь.
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало милые тебе,
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей—
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

Кому сделано это таинственное посвящение? Известный пушкинист Н. О. Лернер уже раньше, как мы видели, связывал это посвящение с тем скрытым поэтом предметом своей любви, с которым соединены другие поэтические воспоминания о сердечных переживаниях поэта на Кавказе и в Крыму. П. Е. Щеголев, во много раз нами ци-

тированном исследовании, дал определенный, не могущий быть подверженным сомнению, ответ.

Обратившись к черновым рукописям этого посвящения, он нашел зачеркнутые написанные поэтом слова, дающие нам прозрачный намек, кто была она, утаенная любовь поэта. Вместо слов: „твоя печальная пустыня“, первоначально в рукописи значилось: „Сибири хладная пустыня“. Для непредубежденного читателя стало вполне очевидным, что таким близким сердцу Пушкина лицом, находившимся в данный момент в „далекой“, „печальной“ — или уже вполне определенно — „хладной сибирской“ пустыне, была в то время находившаяся под Читинским острогом, добровольно последовавшая за мужем Мария Николаевна Волконская, урожденная Раевская. Как раз та — имя и образ которой со времени путешествия Пушкина в 1820 г., как мы видели, были действительно в полном смысле слова самым дорогим сокровищем, святыней его души.

Любовь его осталась некогда „без ответа“, „непризнанной“. Судя по черновикам посвящения — поэт сам называет эту любовь „утаенной“. И нам уже не раз приходилось убеждаться, как тщательно Пушкин оберегал эту тайну любви. Отъезд в Сибирь М. Н. Раевской вслед за мужем, последнее свидание в доме Зинаиды Волконской — были памятны поэту, а потому он мог хранить в себе „последний звук ее речей“. Так же, как для многих (напр. Веневитинова, Зинаиды Волконской) последний вечер прощания остался незабываемым.

Итак, „Полтава“ посвящена Марии Николаевне Раевской-Волконской. Однако для посвящения того или другого произведения имеются большею частью какие-нибудь внутренние основания, особенно для таких интимных лирических посвящений, как приведенное. Почему именно Полтаву Пушкин *внутренне*, в глубине своей души посвящал Марии Николаевне? В чем заключалась эта внутренняя связь? В самом посвящении находятся, как-будто, указания на какой-то, понятный лишь „ей“, смысл, который она могла бы постигнуть.

Тебе—но голос музы темной
Коснется ль уха твоего,
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?

„Темная муза“ поэта — не намек ли это на иносказательный, неясный смысл не только посвящения, но поэмы? В черновике упоминаются „тайные звуки“.

В черновой рукописи есть также написанный, а затем зачеркнутый эпиграф: „I love this sweet name“ (Я люблю это нежное имя). В самой поэме мы видим, какое это было имя. Изображая смерть казака, поэт отмечает:

И имя нежное Марии
Чуть лепетал его язык.

Здесь видели мы первый намек на возможность связи Марии, которой посвящена поэма, с Марией, героиней самой поэмы.

Анализ самой поэмы дает, как нам кажется, целый ряд подтверждений.

Уже при самом появлении в свет „Полтавы“ некоторые критики отметили в поэме отсутствие единства, наличие нескольких поэм. Так в 1830 г. Ив. В. Киреевский (в „Деннице“) писал: „Посвятив первые две песни преимущественно истории любви Мазепы и Марии, Пушкин окончил свою повесть вместе с концом второй песни; и в отношении к главному интересу поэмы всю третью песню можно назвать лишнею“.

Позднее Белинский также полагал, что „Полтава заключает в себе несколько поэм и по этому самому не составляет одной поэмы. Но каждая часть в отдельности есть превосходное художественное произведение“. Особенно выделяет знаменитый критик психологию любви Мазепы и Марии. Он утверждает, что „нигде личность Марии (а лучше ничего не создала творческая кисть Пушкина из всех нарисованных им портретов) не возвышается до такого апофеоза, как в сцене ее объяснения с Мазепой, сцене написанной истинно шекспировской кистью“.

Такое же мнение о двойственности поэмы высказывал в своих „Материалах“ Анненков: „Настоящий недостаток поэмы состоял в двойственности ее плана и это было замечено тогда же критиком, написавшим обзор литературы в Альманахе „Денница“ на 1831 г. Всю историю Марии считал он отдельной поэмой. К этому можно прибавить, что в подобных случаях недостаток чувствуется тем сильнее, чем ярче и превосходнее краски эпизода, поднятого на высоту, ему не свойственную“ (стр. 212).

Итак, два элемента поэмы особенно выделяются и отделяются друг от друга: 1) элемент исторический, назовем его — „Петр и Мазепа“ и 2) мало покрываемый историей — романтический — „драма Марии“. Она является центром действия. Превосходно говорит современный наш тонкий критик Ю. И. Айхенвальд: „Да, это нежное имя, которое прошептали умирающие уста, было услышано Пушкиным в канонаде Полтавского боя, в шуме исторических волнений, и только потому создавалась самая поэма. Пусть говорит она о событиях, записанных в мировые скрижали, пусть она идеализирует войну, пусть она в поэзию претворила историю, но все это объективное, общее собралось вокруг женского имени, вокруг романа и не напрасно каждая из трех песен Полтавы кончается образом нежной и несчастной Марии“. (Айхенвальд. Пушкин).

В чем же заключалась основная драма Марии? Как и Белинский, современный нам критик выделяет сцену объяснения Марии с Мазепой. В этой-то сцене выразилась всего ярче душевная трагедия Марии.

„Мария, говорит Айхенвальд, не могла без трагедии решить вопроса, который предложил ей Мазепа: „Отец или супруг тебе дороже?“ Мучительно всегда тому, кто должен выбирать, но Марии надо было произвести особенно страшный женский выбор, и она убила того, кого любила; „на родную голову опустила она секиру“..... Итак тяжелый душевный вопрос „отец или супруг тебе дороже?“ Но ведь это источник драмы не одной Марии Кочубей — это, как мы знаем, был трагическим вопросом и стоило великих страданий и другой Марии: Раевской-Волконской.

Здесь мы видим второй и основной пункт совпадения между личной драмой обеих Марий. Здесь-то, может быть, главным образом, и таилась та внутренняя связь между поэмой и посвящением, о которой мы говорили выше.

Драма женской души, вставленная в рамку исторической поэмы, почти не покрывается историческими данными XVIII в. Здесь поэту открывалась широкая дорога для поэтического вымысла. Но глубоко правдивый Пушкин, как во многих других случаях, мог исходить в изображении психологических движений своих вымышленных героев из жизненного опыта, „из сердца горестных замет“. Поэтический образ

и недавно развернувшаяся душевная драма близкой его сердцу Марии Раевской могли предноситься уму и сердцу поэта, когда он вдохновенно творил свою чудную поэму. Оттого-то, быть может, эта „историческая“ поэма так согрета сердечным теплом и обвеяна проникновенным чувством. „Имя нежное“ героини поэмы было таким близким, таким сокровенным для сердца самого поэта. Недаром он и заменил историческое имя дочери Кочубея Матрены дорогим, ласкающим его слух, именем Марии. Уже в одном этом сказался субъективизм поэта в этой, казалось бы, объективно-исторической поэме. Впрочем, должно заметить, что имя Марии носит дочь Кочубея и в повести Аладьина „Кочубей“, с которой был знаком Пушкин и о которой говорит в предисловии к Полтаве.

На драме обеих Марий, на их взаимном сопоставлении мы подробно остановимся дальше. Ближайшее рассмотрение поэмы приводит однако, нас к возможности еще больших сближений обоих женских образов, одинаково выношенных в сердце и мечте поэта. Пойдемте вслед за поэмой.

Поэма открывается описанием богатства и славы Кочубея, его полтавских хуторов.

Но Кочубей богат и горд.. не родовыми хуторами:

Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.

Дальше идет поэтическое изображение этой прекрасной дочери. Как показывают черновики поэмы, Пушкин долго и старательно работал особенно над этим местом.

„Описание красоты Марии стоило, как видно, некоторых усилий Пушкину... Пушкин марал свои стихи, возвращался к ним и снова заменял по-другому“ (ср. Анненкова, Материалы).

Лично мы также знакомимся с черновиками Полтавы в Румянцевском музее и должны вполне признать это мнение Анненкова: поэт тщательно работал над описанием внешности Марии.

Вот как вылились эти строки в окончательном виде:

И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной

Она свежа, как вешний цвет.
Взлелеенный в тени дубравной,
Как тополь киевских высот
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена грудь ее бела,
Вокруг высокого чела
Как тучи локоны чернеют,
Звездой блестят ее глаза;
Ее уста, как роза, рдеют.

Такова внешность Марии Кочубей.

Мария Раевская также выросла на украинской почве, на хуторе своего отца в знаменитой Каменке Киевской губернии. Там часто бывал Пушкин. Там он видел Марию и образ ее, как мы уже видели, ассоциирован в памяти поэта не только с кавказской и крымской природой, но и с природой Малороссии.

Вспомним рассмотренную выше элегию „Редает облаков летучая гряда“, где начальные строки являются художественной картиной природы в Каменке (ср. Лобода. Соц. Пушкина. Брокгауз и Эфрон, т. III).

Недаром Мария Кочубей сравнивается с тополями „киевских высот“.

Но можно с уверенностью говорить, что вообще вся внешность героини поэмы им срисована с Марии Раевской. До нас дошло несколько описаний образа Марии.

И образ обеих Марий поражает своим сходством, если не тождеством.

Упомянувшийся уже нами Олизар, напрасно искавший в 1823 г. руки Марии Раевской, свидетельствует, что Мария Раевская на его глазах (а он был очень близко знаком с семьей Раевских) „из мало интересного смуглого ребенка превратилась в стройную красавицу, смуглый цвет лица который находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня, очах“. Такими же чертами характеризует ее в несколько более поздний возраст декабрист Розен в своих записках: „М. Н. Волконская, пишет он, молодая, стройная, более высокого, чем среднего роста, брюнетка с горящими глазами, с полу-

смуглым лицом, с несколько вздернутым носом, с гордою, но плавною походкой, получила у нас прозвание „la fille du Gange“, девы Ганга“. Сходную характеристику Марии Волконской дает ее знаменитая кузина в своем обращенном к ней поэтическом отрывке: „О ты, пришедшая отдохнуть ко мне. Ты, которую я знала лишь три дня и назвала своим другом! Твой образ запечатлелся в моей душе. Мой взор все еще видит тебя: твой высокий стан встает передо мною, как величавый помысл, а твои грациозные движения как-будто сливаются в мелодию, подобную той, которой, по верованиям древних, звучали звезды на своде небесном. Твои глаза, волосы, цвет твоего лица, как у девы Ганга“. (См. Гаррис. Зинаида Волконская и ее время. М. 1916, стр. 16). Особенно бросались всем черные, жгучие глаза М. Н. Декабрист барон В. Штейнгель говорит, что у М. Н. Волконской „глаза черные, как черная смородина“ (Воспоминания бр. Бестужевых, 1917 г., стр. 315).

Если мы сопоставим все эти свидетельства о Марии Волконской с портретом Марии в Полтаве, то мы не только поразимся сходством, но и буквальностью определения.

„Высокий стан“, „стройная красавица“, „стройная, больше высокого, чем среднего роста“ — говорят современники о Марии Раевской-Волконской.

Как тополь киевских высот,
Она стройна.—

образно говорит поэт о Марии Кочубей. Единогласно говорят про Марию Волконскую свидетельства о „гордой, но плавной походке“, „о грациозных движениях, которые, как-будто, сливаются в мелодию“,

Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрое стремленье.

— говорит поэт.

Вспомним, кстати, как еще на юге в прежнее время Пушкин залюбовался грациозным движением юной Марии Раевской, убегавшей от волны. Об этой сцене, как видели, вспоминает в своих „Записках“ сама М. Н. Волконская. Затем современники живописуют Марию Раевскую, как брюнетку: „черные кудри“, „густые волосы“, „с волосами

девы Ганга“. Еще точнее говорят об этом дошедшие до нас портреты Марии Раевской, где черные локоны густыми кудрями падают на ее чело и виски.

Вокруг высокого чела
Как тучи локоны чернеют—

говорит поэт о Марии Кочубей.

—„Звездой горят ее глаза“—кратко, но выразительно определяет поэт очи Марии Кочубей.

О „пронизывающих черных очах“, „горящих глазах“ „черных глазах, — как смородина“—говорят современники: „глаза ее много выражают“,—говорит Веневитинов по поводу Марии Раевской.

Это внешний облик обоих женских образов.

Но не единая краса
(Мгновенный цвет) молвою шумной
В молодой Марии почтена
Везде прославилась она
Девницей скромной и разумной—

дополняет поэма облик Марии.

Туманский еще в 1823 году в письме к своей кузине С. Г. Туманской пишет про Марию Раевскую, что: „она дурна собой, но очень привлекательна остротой разговоров и нежностью обращения“¹⁾.

Мы знаем высокие отзывы об ее уме, скромности и достоинстве, какие в богатстве дошли до нас от ее близких, от поэтов, например Веневитинова, князя Вяземского и от многих декабристов.

Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?—

обращается к ней поэт в своем обращении, предпосланном „Полтаве“.

Обратимся вновь к поэме.

Юная Мария соединила свою судьбу с старцем Мазепой.

Он, должный быть отцом и другом
Невинной крестницы своей...
Безумец, на закате дней
Он вздумал быть ее супругом.

¹⁾ Ср. Щеголев. Ук. соч., стр. 150. Письма В. И. Туманского и неизд. его стихотворения. Черн. 1891, стр. 54.

И здесь есть некоторое соответствие с судьбой Марии Раевской Юная 19-ти летняя Мария Раевская вышла замуж за значительно старшего ее годами князя С. Г. Волконского, который, говоря словами декабриста барона Розена, „по летам мог быть ее отцом“. Волконский женился на Марии Раевской в грозный политическими событиями роковой 1825 год. Делая свое предложение и вступая затем в брак, Волконский был в самом водовороте политических событий: он был одним из самых энергичных и деятельных членов тайного общества. Вопросы политики, общественной деятельности стояли у него на первом плане. Ради них он готов был скорее пожертвовать женитьбой на любимой девушке, чем отказаться от своих политических замыслов. Об этом говорит он в своих „Записках“: „давно влюбленный в нее (т.-е. М. Н. Раевскую), я, наконец, в 1824 году решился просить ее руки. Это дело начал я вести через Михаила Орлова, но для очищения себя от упрека в том, что я виною всех тех испытаний, которым подвергалась она впоследствии от последовавшего опального моего гражданского быта—я должен сказать, что, препоручив Орлову ходатайствовать в мою пользу у ней, у ее родителей и братьев, я положительно высказал Орлову, что, если известные мои сношения и участие в тайном обществе будут помехой в получении руки той, у которой я просил согласия на это, то, хотя скрепя сердце, я лучше откажусь от этого счастья, нежели решусь изменить своим политическим убеждениям и своему долгу“. В ожидании решения, князь Волконский уехал на Кавказ, приняв политическое поручение от верховной думы Южного общества. На Кавказе князь Волконский получил от Орлова извещение, что „он может формально приступить к исполнению своего намерения относительно женитьбы, с надеждой на успех“... Что говорил Орлов,—нам неизвестно. Во всяком случае—Раевские, в том числе и сама невеста, остались в полном неведении о политических планах Волконского и об участии его в тайном Обществе. Вот что пишет в своих записках сама М. Н. Волконская: „В 1825 г. я вышла замуж за князя Сергея Волконского, достойнейшего и благороднейшего из людей; мои родители думали, что обеспечили мне блестящую, по мнению света, будущность. Мне было грустно расстаться с ними: словно сквозь подвенечный вуаль мне смутно рисовалась судьба, ожидавшая нас. Вскорости я заболела,

и меня послали в Одессу на морские купанья с матерью и сестрой и моей англичанкой. Сергей не мог нас сопровождать, т. к. по делам службы должен был остаться при своей дивизии. Я почти совсем не знала его до свадьбы. В Одессе я пробыла все лето, и таким образом, в первый год нашей супружеской жизни я провела с мужем только три месяца; я и не подозревала тогда о существовании тайного Общества, членом которого он состоял. Будучи старше меня лет на двадцать, он не мог поэтому довериться мне в таком важном деле“.

С. Г. Волконский так был увлечен своей политической деятельностью, что предавался ей даже в дни своей свадьбы.

„Как уже я сообщил,—говорит он в своих Записках,—в январе 1825 г. было положено съехаться поименованным депутатам русского и польского общества для переговоров. Хотя именно в это время была моя свадьба, но я не отклонился от участия в оных, и это новый знак моей преданности к делу тайного Общества... Общее заседание нас четверых было у меня, уже женатого, на квартире“. Волконский, полный думами о своих тайных политических планах, скрывал все от жены. Наступали роковые события.

„В конце осени,—продолжает М. Н. Волконская,—он приехал за мной, отвез меня в Умань, где стояла его дивизия, а сам уехал в Тульчин — главную квартиру второй армии. Через неделю он вернулся среди ночи и тотчас же разбудил меня: „Вставай скорее“. Я вскочила, дрожа от страха, я была в последнем периоде беременности, и это внезапное возвращение среди ночи напугало меня. Он растопил камин и стал жечь какие-то бумаги. Как умела, я ему помогала, спрашивая, что все это значит... „Постель арестован“. Почему? Ответа нет. Вся эта таинственность меня беспокоила. Я видела, что он был печален, что-то сильно озабочен“.

Волконский отвез жену к ее отцу, а сам тотчас же уехал. Немедленно по возвращении он был арестован и отправлен в Петербург.

Сквозь эти поздние строки Записок мы улавливаем все же грустный тон преданной мужу жены, которой он не нашел возможным поведать свои, так занимавшие его, важные политические думы.

В письмах М. Н. Волконской, современных событию, лишь теперь становящихся доступными для исследователей, выражается опреде-

ленное чувство горечи и пдохо скрываеваемой обиды: „Почему Сергей не сказал об этом обществе, женясь на мне — вот это единственная вина по отношению ко мне, т. к. он лучший из мужей, каким будет и из отцов, я его теперь люблю больше, чем когда-либо, потому что он несчастен“ (Архив Волконских, т. II, в рукописи, письмо М. Н. Волконской брату Александру от 8 марта 1826 г.).

Не та же ли тревога и тоска у Марии в Полтаве?

Была та смутная пора...
Украина глухо волновалась...
.....
Своеволием пылая,
Роптала юность удалая,
Опасных алча перемен...

Не посвящая своей жены,

Мазепа казни продолжает
С ним полномочный езуит
Мятеж народный учреждает
И шаткий трон ему сулит...
Во тьме ночной они, как воры,
Ведут свои переговоры:
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов
Торгуют царской головой...

Но как Мария? Посвящает ли ее Мазепа в свои замыслы?

Иль тайны смелых, грозных дум
Ей, деве робкой, открывает?

Нет, —

О, еслиб ведала она
Что уж узнала вся Украина!
Но от нее сохранена
Еще убийственная тайна.

Превосходно изображены Пушкиным чувства любящей, преданной женщины, оскорбленной скрытностью мужа.

Мазепа мрачен. Ум его
Смущен жестокими мечтами.
Мария нежными глазами
Глядит на старца своего...

Напрасно: черных помышлений
Ее любовь не удалит.
Пред бедной девой с невниманьем
Он хладно потупляет взор,
И ей на ласковый укор
Одним ответствует молчаньем.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встает она
И говорит с негодоваьем:
„Послушай, гетман, для тебя
Я позабыла все на свете,
Навек однажды полюбя,
Одно имела я в предмете—
Твою любовь. Я для нее
Забыла счастье мое.
Но ни о чем я не жалею;
Ты помнишь: в страшной тишине,
В ту ночь, как стала я твоею,
Меня любить ты клялся мне.
Зачем же ты меня не любишь?

Нужны уверения Мазепы. Мария не верит.

Неправда; ты со мной хитришь.
Давно ль мы были неразлучны?
Теперь ты ласк моих бежишь,
Теперь они тебе докучны;
Ты целый день в кругу старшин,
В пирах, разъездах—я забыта;
Ты долгой ночью яль один,
Иль с нищим, иль у езуита.

Как это сходно с только-что рассказанным обоими Волконскими!

Мазепа только в конце-концов, частично, раскрыл свои политические планы. Волконский был скрытен до конца. Пока не грянул гром — и все открылось само собой. Теперь мы подходим к центральному пункту драмы обоих Марий, к тому роковому вопросу, какой был с неизбежностью поставлен перед ними. Обоим нужно было сделать тяжелый выбор: „Отец или супруг тебе дороже?“

В немногих, но выразительно кратких словах изобразил перед нами Пушкин всю эту трагедию женской души.

М а з е п а.
Постой,
Не все свершилось. Буря грянет...
Кто может знать, что ждет меня?

М а р и я.
Я близ тебя не знаю страха—
Ты так могущ! О знаю я:
Трон' ждет тебя.

М а з е п а.
А если плаха?..

М а р и я.
С тобой на плаху, если так. . .
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет, ты носишь власти знак.

М а з е п а.
Меня ты любишь?

М а р и я.
Я! люблю ли?

М а з е п а.
Скажи: отец или супруг
Тебе дороже?

М а р и я.
Милый друг,
К чему вопрос такой? Тревожит
Меня напрасно он. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей в позор; быть может,
(Какая страшная мечта!)
Моим отцом я прольята,—
А за кого?

М а з е п а.
Так я дороже
Тебе отца? Молчишь...

М а р и я.
О, Боже!

М а з е п а.
Что ж? Отвечай.

М а р и я.
Реши ты сам.

М а з е п а.
Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо.
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

М а р и я.
Ах, полно! Сердце не смущай!
Ты искуситель.

М а з е п а.
Отвечай.

М а р и я.
Ты бледен; речь твоя сурова...
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь,
Но страшны мне слова такие.
Довольно.

М а з е п а.
Помни же, Марья,
Что ты сказала мне теперь.

Перенесемся теперь в эпоху через 100 лет в семью Раевских. Та же сгущенная, полная трагизма, политическая атмосфера. Буря грянула. Политический заговорщик в крепости. Кто может знать, что ждет его? Возможно плаха или дальняя безвозвратная ссылка. Его бедной, непосвященной в политические тайны, жене приходится уже не отвлеченно, а практически решать жгучий вопрос.

А если плаха?
С тобой на плаху, если так...

Плаха заменилась не менее страшной казнью — ссылкой в далекую Сибирь, без надежды на возврат. Мария бесповоротно сделала решительный выбор: „с тобой в Сибирь“.

Но...
Так я дороже
Тебе отца?

Мария Волконская пожертвовала всем: семьей, отцом, даже сыном.

— всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь,
Но страшны мне слова такие:

Мария Волконская с такой же безапелляционной решимостью, как и Мария Кочубей, выразила свою готовность разделить с мужем его участь, какой бы страшной она ни была. Вот что она пишет мужу через два дня после того, как узнала об его аресте: „Вот уже два дня, как узнала я о твоём аресте, дорогой друг... Я не позволю себе падать духом. Я надеюсь на милость нашего великодушного императора. *Какая бы ни была твоя судьба, я ее разделю, я последую за тобой в Сибирь, на край вселенной, если это понадобится, ты не должен в этом сомневаться, мой горячо любимый Сергей. Я разделю с тобой тюрьму, если тебя присудят к заключению в ней*“¹⁾.

Чего это стоило сердцу бедной Марии, какие мучения ей пришлось перенести, пусть расскажут живые свидетельства той эпохи²⁾.

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо от 5 марта 1826 г.

²⁾ Этими свидетельствами являются уже не раз цитированные записки С. Г. и М. Н. Волконских, а в особенности недавно частью опубликованная, частью же ожидающая своего опубликования семейная переписка как Волконских, так и Раевских. Чрезвычайно интересные письма М. Н. Волконской из Сибири были опубликованы М. О. Гершензоном в I томе его „Русских Пропилеев“ (М. 1913 г.) в первой главе: „Письма кн. М. Н. Волконской из Сибири (1827—1831 гг.)“; им же, на основании писем, сохранившихся в архиве Орловых, был составлен прекрасный по живости изображения очерк „М. Ф. Орлов“ в книге „История Молодой России“ (М. 1906 г.), где предстает перед нами во всей своей жизненности семейная трагедия Раевских, вызванная роковыми событиями 1825 г. Ряд писем из интересующего нас периода находим в многотомном „Архиве Раевских“. Но самым главным источником является семейная переписка в начавшем издаваться „Архиве Волконских“, под ред. Б. Л. Модзалевского, пока выпустившего лишь первый том (Петроград, 1919). В предисловии Б. Л. Модзалевского в I томе приведена цитата из писем, долженствующих войти в следующий том. Благодаря любезности Б. Л. Модзалевского, мы имеем возможность ознакомиться и со вторым подготовленным к печати, но остающимся пока в рукописи, томом этого замечательного Архива. Письма, вошедшие в этот второй том, как-раз относятся к интересующему нас, тревожному для семьи Волконских и Раевских, периоду 1825 и ближайших с ним лет. По своей важности для истории русского общества, по своему богатству и непосредственному трепету бытия в них жизни, письма этих годов представляют исключительный интерес; приходится глубоко сожалеть

Оставшаяся без мужа, арестованного и увезенного в Петербург, Мария Волконская проводила дни в больших душевных и телесных страданиях. Тяжелые роды осложнились жестокой лихорадкой, перешедшей в воспаление мозга. Ей пришлось пролежать в постели целых два месяца. Когда она, приходя в себя, спрашивала про мужа, от нее скрывали правду, говоря, что он в Молдавии, а вместе с тем пишет она в своих Записках: „он в это время был уже в тюрьме и выносил все нравственные пытки допроса“.

„В один прекрасный день, собравшись с мыслями, я сказала сама себе: Отсутствие моего мужа неестественно, ведь я совсем не получаю от него писем. Я, наконец, настояла, чтобы мне сказали правду, и тут я узнала, что Сергей арестован точно так же, как и В. Давыдов, Лихарев и Поджио¹⁾. Я объявила матери, что уезжаю в Петербург, куда уже уехал мой отец. На следующее утро все было готово к отъезду, но в тот момент, когда нужно было вставать, я вдруг почувствовала в ноге сильную боль. Я тотчас же велела привести ко мне ту добрую женщину, которая тогда так горячо молилась за меня Богу, она сказала, что это рожа, завернула мою ногу в красное сукно с мелом — и я отправилась в путь с своей дорогой сестрой и ребенком, которого я дорогой оставила у тетки моего отца, графини Браницкой“²⁾.

что из-за затруднительности печатания книг в настоящее время этот ценный историко-культурный материал должен оставаться в рукописях. Мы сожалеем, что из-за краткого пребывания в Петербурге, по неволе должны были несколько наспеш прочитать этот огромный материал и сделать лишь самые нужные для нашей работы выписки. Письма, вошедшие в этот второй том Архива, как и письма первого тома, в подавляющем большинстве написаны (и напечатаны) на французском языке. Для удобства читателя мы позволяем себе приводить все выдержки из этих писем в русском переводе. В ссылках мы будем обозначать: „Архив Волконских том II-й“ и давать дату письма; если оригинал письма написан по-русски, то это всякий раз будет оговариваться. Считаем долгом принести Б. Л. Модзалевскому свою глубокую благодарность за любезное разрешение пользоваться неопубликованными письмами.

¹⁾ „Marie.—пишет ее сестра Софья другой их сестре Е. Н. Орловой,—не имея известий о своем муже в течение шести недель, была уверена, что он умер, так что нельзя передать того, как она была счастлива, узнав, что он жив“. (Архив кн. Волконских, т. II. Письмо от 5 марта 1826 г.).

²⁾ Записки М. Н. Волконской, стр. 55—56.

Так, не давая себе передышки ни днем, ни ночью, несмотря на распутицу, примчалась еще совсем больная Мария Волконская в Петербург и остановилась в доме своей свекрови, сановитой и влиятельной придворной дамы.

Семья Раевских, отец и братья, употребили все усилия, чтобы воспрепятствовать Марии ехать за мужем в Сибирь, когда стала обнаруживаться предстоящая судьба С. Г. Волконского.

„Мне неоткуда было ждать совета, пишет М. Н. Волконская в Записках; брат Александр, предвидевший исход дела, и отец, приходивший от него в ужас, буквально провели меня. Александр проделал это с такой ловкостью, что я поняла все гораздо позже, когда уже была в Сибири. Здесь мои подруги рассказывали мне, что всякий раз, когда они приезжали навестить меня, им говорили, что я не принимаю. Брат боялся их влияния на меня, но тем не менее, несмотря на все его предосторожности, я и Наташа Трубецкая были первыми, которые приехали в Нерчинские рудники“. В Петербурге состоялось, с разрешения Государя, единственное свидание с мужем в крепости¹⁾.

„Это свидание при посторонних,—вспоминает М. Н.,—было чрез-

¹⁾ В еще неизданном II томе Архива кн. Волконских имеется черновик обращения М. Н. Волконской к Николаю I с просьбой о разрешении этого свидания. Привожу его в переводе: „Государь! По приезде сюда, чтобы быть ближе к моему мужу, неясные, но печальные известия, какие я получила, истерзали мою душу. Между тем я должна надеяться. Мне известны милость и великодушие Вашего Императорского Величества и я не могу верить, что мой муж так виновен. Потому я питаю полное доверие, Государь, к Вашей справедливости и в особенности к Вашему милосердию. Я обратилась к генералу Бенкендорфу, столь известному своей гуманностью, чтобы получить у него сведения. Он был так любезен ответить мне, и, между прочим, написал мне, что дело затягивается. Я бы стала терпеливо дожидаться исхода этого, столь несчастного дела, но по совету моих родителей, я, вероятно, буду принуждена уехать к моему бедному ребенку, который нуждается в моих заботах. Государь, удостойте меня разрешением увидеть мне моего мужа для того, чтобы я могла увериться, по его собственному признанию, в том, какая нас ожидает участь и в чем он может надеяться на Вашу Августейшую милость. Смею надеяться, что Вы не откажете усиленным просьбам существа столь несчастного, как я. С глубоким уважением к Вашему Императорскому Величеству всенижайшая подданная княгиня Мария Николаевна Волконская, урож. Раевская“.

вычайно тяжело; мы ободряли друг друга, но делали это без всякого убеждения. Я не решилась его расспрашивать: все взоры были обращены на нас, мы обменялись платками. Вернувшись к себе, я поспешила посмотреть, что там было, но нашла лишь несколько слов утешения, которые были написаны на углу платка, и которые я с трудом могла разбирать“ . . .

Как ни тяжело было это свидание, оно все же доставило Марии Николаевне известное утешение. „Дорогой друг, — пишет она вскоре за этим мужу, — я не могу тебе выразить, сколько добра сделало мне наше свидание с тобой; мысль покинуть Петербург, не увидев тебя, не уверившись своими собственными глазами в твоём положении, причиняла мне беспокойство, терзала мне душу. Твоя покорность, спокойствие твоего ума—придают мне мужество. Прощай, мой дорогой друг, до скорого свидания, потому что я надеюсь в скором времени вернуться“ ¹⁾.

А между тем, Сергей Волконский, предчувствуя и отчасти зная по слухам о готовящейся ему далекой ссылке, был занят мыслью: разделит ли с ним тяжелую участь его жена.

Ближайшим лицом, которому он доверял свои мысли, была его сестра, Софья Григорьевна, которая, с своей стороны, с неизменной настойчивостью, если не сказать—деспотизмом, настаивала на том, чтобы Мария Николаевна незамедлительно последовала за мужем, чтобы разделить его судьбу.

В записке из Алексеевского равелина к своей сестре Софье, Сергей Григорьевич писал: „Уже некоторые из жен просили и получили разрешение следовать за своими мужьями к месту их назначения, о котором они будут предупреждены. Выпадет ли мне это счастье, и неужели моя обожаемая жена откажет мне в этом утешении. Я не сомневаюсь в том, что она с своим добрым сердцем всем мне пожертвует, но я опасаясь посторонних влияний, и ее отдалили от всех вас, чтобы сильнее на нее действовать... Если жена приедет ко мне на свидание, то я бы желал, чтобы она приехала без своего брата, иначе ее

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Из письма М. Н. Волконской мужу от 23 апреля 1826 г. из Петербурга.

тотчас увезут от меня. Врач был бы при этом нужнее. Получу ли я от своей жены утешение, в котором другие уже уверены?¹⁾

Насколько живо С. Г. Волконский волновался — поедет ли жена за ним в Сибирь, и насколько этот вопрос служил предметом борьбы между семьями Раевских и Волконских, показывает хотя бы письмо ближайшего поверенного Сергея Григорьевича — его сестры, Софьи: „Дорогой друг,—пишет она брату в крепость,— отказ твоего тестя от управления имением (принадлежащим С. Г-чу Волконскому), и в особенности то, что доходы Марии были бы вполне достаточны для нее и для сына, говорит хорошо, что они (т.-е. Раевские) работают и работают над тем, чтобы удалить от нее мысль ехать за тобой, потому что с ее (личными) средствами нелегко переезжать с места на место. Видимо, таким образом, каковы они и какова твоя жена; она, будучи разлучена от них, имеет одну лишь мысль, одно желание, столько раз ею выраженное: ехать за тобой повсюду, где бы ты ни был. Я, было, забыла сообщить тебе относительно тетки, которую я здесь видела. Она меня спрашивает, каким образом я известила Марию о решении твоей участи. Через Репнина. Все ли предосторожности были приняты? Может быть, Александр был в отсуствии? Я сказала, что если она знает Репнина, то она может быть спокойна. Она меня спрашивала, кто из дам уезжает (в Сибирь) — я ей сказала. Она мне сказала: „со временем, конечно, и Мария сможет поехать, но со временем“. Я хранила глубокое молчание, чтобы не дать ей почувствовать неуместность ее слов. Ее слова ничто иное, как — эхо всех своих, но они этого не добьются. Мария не охладет ни к тебе, ни в своем желании отправиться за тобой и вскоре же. Я буду тебя держать в известности. Рассчитывай на меня и достоверность моих слов“²⁾.

Наконец, сам С. Г. Волконский выражал в письме к жене (наверное, переданном по адресу братом Александром) свое желание видеть ее³⁾. Правда, под влиянием уговоров семьи Раевских, С. Г. даже начи-

1) Записки кн. С. Г. Волконского. Приложение, стр. 453.

2) Архив Волконских, т. III. Письмо от 31 мая 1826 г. из Петербурга.

3) См. дальше в письме Н. Н. Раевского к С. Г. Волконскому от 23 августа

нает отговаривать жену от поездки, но ясно, что это являлось вынужденным с его стороны. (Ср., например, черновик письма уже из Сибири в Архиве Волконских от 2 ноября 1826 г., где С. Г. описывает тяжелое положение и просит жену взвесить все перед своим решением). Ту же мысль он выражает, было, в письме к своей сестре, С. Г. Волконской, но тут же замечает: „Я не сомневаюсь, что она (жена) была бы очень счастлива увидеть меня еще раз, и ты знаешь, что я вполне разделяю это чувство“¹⁾.

Итак, роковой вопрос был поставлен,—поставлен почти в тех же словах, что и в Пушкинской поэме:

Послушай: если было б нам,
Ему (т.-е. отцу) иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда . . .

Пусть Волконский ставил этот вопрос в письме к своей сестре. Но ведь он сам связывает решение жены отчасти с близостью ее к своей родне: „но я опасаюсь посторонних влияний, и ее отдалили от всех вас, чтобы сильнее на нее действовать“. Конечно, он знал, что его желание может быть передано через его родню его жене. Это видно из письма к нему сестры Софьи, да, наконец, как мы видели, он сам писал об этом жене. Недаром и другая сторона — Раевские, близкие Марии, ее отец и братья — решение Марии связывали с влиянием Волконских и с своей стороны старались воздействовать на Сергея Григорьевича, чтобы он сам уговорил жену не разделять с ним его участи.

„И вот,—пишет М. О. Гершензон,—началась та изумительная борьба, где слабой женщине, полуробенку, был противопоставлен целый заговор мужской хитрости и настойчивости, и где в конце-концов воля сердца все же одержала верх. Все нити заговора держал в своих руках Александр Раевский: отец и старшая сестра, Орлова, действуя с ним заодно, следуя его указаниям. Их цель была—не дать Марии Николаевне последовать за мужем в ссылку, а для этого нужно было,

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо С. Г. Волконского сестре, С. Г. Волконской, от 26 окт. 1826 г.

во-первых, устроить так, чтобы она узнала о приговоре как можно позже, по возможности, когда осужденные будут отправлены в ссылку; во-вторых, оградить ее от влияния мужниной семьи, так как легко было предвидеть, что Волконские как-раз станут внушать ей решимость разделить судьбу мужа¹⁾.

Еще перед тем единственным свиданием М. Н. с С. Г. в крепости, о чем говорилось выше, мать Марии Николаевны, вообще очень недружелюбно настроенная к зятю, старается воздействовать на него. Она пишет ему в крепость письмо: „Мой дорогой Сергей! Ваша жена приехала сюда (в Петербург) исключительно для того, чтобы увидеть Вас, и это утешение ей даровано. До настоящего времени она не знает всего ужаса Вашего положения. Помните, что она была опасно больна, мы отчаявались в ее жизни. Голова ее настолько ослаблена страданиями и беспокойством, что если Вы не принудите себя быть сдержанным, будете ей говорить о вашем положении — она может потерять рассудок. Будьте мужчиной и христианином, требуйте, чтобы Ваша жена вскоре же уехала к вашему ребенку, который нуждается в присутствии матери. Расстаньтесь со всем возможным хладнокровием²⁾. Когда была решена участь С. Г. Волконского, и сами обстоятельства поставили для окончательного решения роковой вопрос: поедет ли Мария за мужем в ссылку, Раевские вновь стараются воздействовать на Волконского. На этот раз пишет зятю отец Марии Николаевны: „Жена и сын твой здоровы, через несколько дней отправляюсь известить Машеньке то, чего она вполне еще не знает. Я таил от нее до моего присутствия, зная, сколько, по привязанности ко мне, присутствие мое будет ей чувствительно и придаст ей сил душевных. В письме твоём к ней ты показываешь желание ее видеть. Властью моею я могу остановить ее, но сие должно происходить от тебя. Подумай, друг мой, перенесет ли она несколько месяцев путешествия— подумай, можно ли нескольких месяцев младенца подвергнуть верной смерти. Какую может дочь моя доставить ему и себе помощь. Подумай, что она сим лишится своего звания, а дети, могущие от вас

1) М. О. Гершензон. История молодой России. М. 1908 г., стр. 58.

2) Архив кн. Волконских, т. II. Письмо С. А. Раевской— С. Г. Волконскому в Петербурге, апр. 1826 г.

произойти, не будут иметь никакого. Сердце твое само скажет тебе, мой друг, что ты сам должен писать к ней, чтоб она к тебе не ездила“¹⁾.

Раевским удается, как можно скорее, вывезти Марию Николаевну из Петербурга, якобы с целью привезти ребенка; им удается не дать встретиться М. Николаевне с сестрой мужа, Софьей Волконской, которую обожал ее муж и с которой она горела нетерпением познакомиться. По приезде к ребенку в Александрию, М. Н. не получала никаких известий, ей передавали только самые незначительные письма, остальные уничтожались²⁾. Александр Раевский, оставшись сторожем сестры, предпринимал все меры, чтобы до нее ничего не доходило. Он собственноручно вскрывал ее письма, запрещал родным в письмах к ней

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо Н. Н. Раевского к С. Г. Волконскому от 23 августа 1826 г. По-русски.

²⁾ Какие письма шли в деревню к Марии Николаевне от Волконских, как последовательно Волконские старались воздействовать (хотя этого, как мы видели, и не требовалось) на Марию Николаевну, чтобы она ехала, показывает хотя бы следующее письмо кн. Софьи Григорьевны Волконской. „Письмо это,—справедливо замечает Б. Л. Модзалевский,—повидимому, до кн. М. Н. Волконской не дошло, так как общий тон его не мог понравиться А. Н. Раевскому“. „Сергей,—пишет Софья Григорьевна Марии Николаевне,—был крайне расстроен, узнав о решении моей матери, о котором она известила его через меня, поехать за ним повсюду, где бы он ни очутился, даже в самой глубине Сибири, если бы его туда сослали. Она хочет разделить с вами ваше одиночество и облегчить ваши страдания. Подобное решение достойно моей матери, которую вы любите сами. Сначала казалось, что она не соразмеряет со своими силами, но моральная энергия может также поддержать физические и сделать для нас больше, чем можно было бы ожидать с первого взгляду. Вы говорите, дорогая сестра, о своем приезде сюда, но дело настолько близко к своему концу, что вы рискуете не найти уже здесь своего мужа. Я постоянно сожалею, что в тот раз, как вы были здесь, ваш муж, уступая настояниям ваших, уговорил вас вернуться“. (Архив Волконских, т. II. Письмо от 7 июня 1826 г.). В этом письме говорится о намерении матери Волконского уехать вслед за сыном в Сибирь. Насколько, однако, это решение было серьезным со стороны старухи Волконской, которая даже не посетила сына в заключении, а не являлось минутной прихотью, может быть имевшей целью еще более побудить невестку ехать к мужу в ссылку—выяснилось вскоре же. По крайней мере Раевские, не верили серьезности этого решения, и считали его одним из средств воздействия на Марию Николаевну. Н. Н. Раевский-отец, с своей стороны, видимо, знал, что старая княгиня все равно не поедет, пытается использовать ее

сообщать что-либо относящееся до приговора и суда: „Если бы только Маша,—пишет он сестре Елене,—подозревала близость суда, то не было бы возможности удержать ее здесь. Необходимо, чтобы она узнала все, как можно позже“¹⁾. А между тем Волконский, видимо, ухитряется прислать письмо. Александр Раевский пишет сестре Орловой уже после приговора над декабристами: „Только что получил письмо от несчастного Волконского, копию которого прилагаю здесь. Я принимаю ответственность, которую он возлагает на меня, принимаю не столько ради него и доверия ко мне, сколько ради Маши, потому что, несмотря на несчастье, постигшее этого человека, я чувствую к нему только жалость“²⁾.

Раевский знает свой план. Оттягивая сообщение Марии Нико-

намерение в целях оттянуть или даже совсем разрушить поездку в Сибирь своей дочери. Так он пишет своему сыну Александру из Москвы: „Ты теперь, мой друг Алексаша, все знаешь по газетам. Я, кажется, что уже сделал положение в мыслях начет Машиньки. Старуха, (кн. А. Н. Волконская) едет к сыну, ибо она плачет и наряжается, грустит и веселится—то если будет речь с кем о Машиньке, я скажу, что ее не пущу к мужу, разве с тещей; все будет падать на меня одного, ей же нужно сберечь родных ее сына“ (Архив Волконских, т. II. Письмо от 2 августа 1826 г. из Москвы. Письмо по-русски). В одном из писем Н. Н. Раевский пишет, что старуха Волконская только „на словах“ собирается ехать в Сибирь. И вскоре, действительно, мысль об этом была оставлена. 17 октября 1826 г. Е. Н. Орлова пишет одной из своих сестер про кн. А. Н. Волконскую: „Вообразите, что старая мать отправилась на бал в Грановитую палату, наконец, там танцевала с императором, к большому скандалу императорской фамилии и всей Москвы. И эти люди делают еще вид, что Мария, якобы, обнаруживает слишком мало рвения, чтобы ехать к своему мужу“. (Архив Волконских, т. II. Письмо Е. Н. Орловой к Е. Н. Раевской). Наконец, когда М. Н. Волконская оказалась уже в Петербурге, отец ее пишет брату, П. Л. Давыдову: „Ты знаешь, брат, что Машинька, дочь моя, здесь: ее привезла обманом кн. Репнина — будто старая княгиня Волконская едет к сыну — в мыслях воспользоваться добротой Машиньки, привязанностью ее к мужу и отправиться в Сибирь. Ребенка оставить у себе или с ней же послать его, но я это все остановил,— разговор мой насчет сей с Государем совершенно оправдал мое мнение“. (Архив Волконских, т. II. Письмо от 9 ноября 1826 г. из Петербурга; писано по-русски).

¹⁾ М. О. Гершензон. История молодой России, Стр. 60.

²⁾ Там же. Стр. 62.

лаевне о судьбе ее мужа, он надеялся дожидаться уже совершения самой ссылки, отрезать этим путь следования за мужем.

„Что касается ее самой, ее воли, то, когда она узнает о своем несчастии, у нее, конечно, не будет никаких желаний. Она сделает и должна делать лишь то, что посоветует отец и я“¹⁾.

Время шло. Уже давно был суд, объявлен приговор, уже Волконский был отправлен в ссылку, а бедная его жена еще ничего не знала. Наконец, решено было сообщить ей всю правду, но отец и братья обманулись в своих ожиданиях²⁾.

¹⁾ М. О. Гершензон. История молодой России. Стр. 62.

²⁾ Из всей семьи Раевских, судя по дошедшим до нас письмам, больше всего понимала Марию Николаевну ее сестра, Ек. Н. Орлова. Она, в письмах к брату Александру, проявляла большую чуткость и уговаривала его быть более осторожным в игнорировании личных настроений и переживаний бедной Марии. Так, в письме к брату Александру от 5 мая 1826 г. она уговаривает его не мешать Марии Николаевне, если уж она решит следовать за мужем. Ей кажется, что одно только собственное размышление сестры может разлучить ее с мужем. Если она не поедет — против своей воли — то она будет лишь мучиться. „Я говорю, как жена“, замечает при этом Е. Н. Судьба Марии навсегда будет проливать горечь на наше бытие; что касается ее, она сможет еще найти счастье в своей преданности своему мужу, в выполнении своих обязанностей в отношении к нему. Выходят замуж для того, чтобы разделять судьбу своего мужа в благополучии, несчастии, в унижении, если только муж не разорвал брачных уз своими тяжелыми проступками в отношении к своей жене . . . Если положение угрожающее, надо вырвать Марию из Петербурга, так как можно будет опасаться за ее рассудок. Бывшая ее болезнь, как говорят, всегда сказывалась на голове. Наконец, Небо поможет. Старайтесь удовлетвориться прежде всего тем, что убедить ее остаться, выждать время и набраться здоровья. Если в ее голове больше романтических мечтаний (romanesque), чем истинной преданности, время ее охладит, если нет — предоставьте ее своей судьбе. Прежде всего, отправьте ее к отцу, или пусть он придет, он договорится с Вами и с ней. Я его торопила ехать к ней, он может затем убедить Сергея — запретить своей жене следовать за ним, по крайней мере на время“. (Архив Волконских, т. II. Письмо от 5 мая 1826 г.) В том же духе, стремясь удержать чрезмерный духовный деспотизм, проявленный братом Александром по отношению к Марии Николаевне, высказывается ее старшая сестра и несколько месяцев спустя. „Что касается Марии, мне кажется, вам будет трудно разубедить ее, когда она узнает, что все жены осужденных сопровождают их. . . Я представляю себе, как будет тяжело отратить ее от путешествия, предприняемого для того, чтобы увидеть, утешить, устроить, насколько

„Когда брат сообщил мне об этом (т.-е. о ссылке С. Г.)—говорит М. Н. в своих Записках,—я объявила, что последую за мужем; брат должен был ехать в Одессу и перед отъездом сказал мне, чтобы я до его возвращения не трогалась с места, но на другой же день после его отъезда я взяла паспорт и отправилась в Петербург. В семье мужа на меня сердились за то, что я не отвечала на их письма. Но, ведь, я не могла им сказать, что я их не получала, так как их перехватывал мой брат. Мне говорили колкости, но ни слова о деньгах. А тем более не могла я им сказать, что я переносила от моего отца, который не хотел меня отпустить“¹⁾.

Письма Марии Николаевны как до узнания ею о ссылке мужа, так и после, с полным единодушием говорят о непоколебимости того решения, какое приняла М. Н. еще в самом начале трагических событий, когда узнала об аресте мужа. Эти решительные ее заявления о том, что она разделит судьбу мужа, будь то ссылка на край вселенной или заключение в тюрьме, мы уже приводили выше. Так же непреклонно, несмотря на все противодействия своих родных, повторяет она это решение изо дня в день. „Мое одно желание,—пишет она мужу еще в Петербурге, еще не зная о приговоре,—моя единственная надежда — получить возможность поселиться в Петербурге с моим сыном и быть подле твоей прекрасной матери и иметь свободу видеть тебя несколько раз“²⁾.

Она приготовила себя к своей участи, ее мучит лишь неизвестность. „Я Вас умоляю еще раз,—пишет она сестре мужа, Софье Григорьевне,—моя дорогая сестра, сообщить мне несколько известий, хороших или дурных: неизвестность—самое большое из несчастий, не бойтесь меня огорчить, я себя приготовила к своей печальной судьбе“³⁾.

будет позволено, благополучие своего мужа“. Ек. Н. Орлова просит брата не думать, что она подстрекает свою сестру. „Я пишу лишь для вас. Ничто бы меня не удержало на месте Марии, я была бы первой в таком путешествии. Вы и мой отец устройте все это, как вы захотите“. (Архив Волконских, т. II. Письмо от 16 августа 1826 г.).

¹⁾ Записки М. Н. Волконской, стр. 59.

²⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо М. Н. Волконской мужу от 24 июля из Александрии.

³⁾ Там же. Письмо от 25 июня 1826 г. из Александрии.

„Какова твоя судьба ни будь,—пишет М. Н. мужу, находясь еще в неведении об его ссылке,—но раз она будет определена, я стала бы более спокойной, потому что никакое мучение не может сравниться с неизвестностью. Минуты, которые я провела в таком ужасном душевном состоянии, самые горестные в моей жизни“¹⁾. Но как только М. Н. вышла из неведения и узнала о состоявшемся приговоре и о ссылке мужа в Сибирь, она сразу же решительно подтвердила свое первое намерение — следовать за мужем и разделить с ним его горькую участь. 12 авг. 1826 г. кн. Н. Г. Репнин извещает своего брата, С. Г. Волконского об его жене: „Я жену твою приготовил ко всему, сказав ей, что, по верным сведениям, только сохранится тебе жизнь; она мне решительно сказала, что она будет делить жизнь свою между тобою и сыном вашим“²⁾. Только-что узнав о ссылке мужа, М. Н. пишет его сестре, Софье Григорьевне: „Я вам ничего не говорю о моем отъезде—мой отец решит это, но вы можете быть уверены, что я поеду, чтобы быть с ним (С. Г.) весною“. Она выражает уверенность, что тогда отец ее не будет сопротивляться ее отъезду.

„С момента, когда я узнала это известие (об отправке мужа в Сибирь), я думаю только о том, как следовать за ним“³⁾. Об этом же своем неременном решении она не раз уведомляет и мужа: „Мой обожаемый Сергей, сколько ты должен был выстрадать, узнав о приезде моих подруг по несчастию и не видя меня едущей разделить твою судьбу, как я беспрерывно говорила тебе на словах и в письмах... Мой дорогой друг, это зависит не от меня, это зависит от нашего ребенка, от приезда моего отца. Но ты хорошо знаешь, дорогой друг, что я тысячу раз предпочитаю в этот момент находиться близ твоих, около твоей матери и твоей ангельской сестры“⁴⁾.

И вот, по приезде в Петербург, М. Н. решительно принялась за дело и стала хлопотать перед Государем о разрешении ей уехать. С

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо М. Н. Волконской мужу от 16 авг. 1826 г.

²⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо кн. Н. Г. Репнина от 12 авг. 1826 г.
Письмо писано по-русски.

³⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо М. Н. Волконской к Софье Григорьевне Волконской из Александрии от 27 авг. 1826 г.

⁴⁾ Там же Письмо М. Н. Волконской мужу от 1 окт. 1826 г.

запугиваниями, предупреждениями, но как бы то ни было, разрешение, наконец, было дано.

Жребий был брошен. Мужу предпочла Мария Волконская и отца, и семью. Сбылись на деле обещания другой Марии

—всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь.

С принятием этого твердого решения для Марии настал еще более тяжелый период в ее душевной драме.

И душу ей одна печаль
Порой, как туча, затмевает:
Она унылых пред собой
Отца и мать воображает;
Она сквозь слезы видит их
В бездетной старости одних.

И вот, ей нужно открыть отцу свое решение.

„Мой отец,—писала М. Н. из Петербурга брату Александру,—не хотел слышать разговоров о моем отъезде зимой — вот что меня волновало, так как я хотела найти моего мужа в Иркутске, где он в настоящее время, зная из достоверного источника, что его повезут дальше весной“¹⁾. Нужно было добиться согласия отца, или, во всяком случае, сказать о своем решении. „Предстоящий отъезд моего отца—говорит М. Н. в письме через день,—меня расстраивает, я его больше не увижу, может быть, очень долго; он дал мне разрешение увидеть Сергея предстоящей весной, но все, кто знают страну, куда я пускаюсь в путь, мне говорят, что зима является временем благоприятным“²⁾. Время не ждало. „Теперь,—описывает М. Н. Волконская в своих Записках,—я должна рассказать вам сцену, которую я буду помнить до последнего вздоха. Мой отец был все время мрачен и неприступен. Однако, мне нужно же было ему сказать, что мы должны расстаться, и что я назначаю его опекуном моего бедного малютки, которого мне

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо М. Н. Волконской брату Александру, от 7 ноября 1826 г.

²⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо М. Н. Волконской брату Александру, от 9 ноября 1826 г.

не позволяли взять с собой... Я показала ему письмо Его Величества, тогда мой бедный отец, не владея более собой, поднял кулаки над моей головой и воскликнул: „Я прокляну тебя, если ты не вернешься через год“. Я ничего не ответила, бросилась на кушетку и спрятала лицо в подушки. Мой отец был нежно любящим семьянином, он не мог перенести мысли о моем изгнании, и мой отъезд казался ему чем-то чудовищным.

Мой шурин, кн. Петр Волконский, министр Двора, заезжал за мной, чтобы увезти меня к себе обедать и дорогой сказал мне: „Уверены ли Вы в том, что возвратитесь?“ — „Я совсем этого и не желаю, а если и вернусь, то не иначе, как с Сергеем, только, ради Бога, не говорите этого моему отцу“¹⁾.

В ту же ночь я выехала, с отцом мы попрощались молча, он благословил меня и отвернулся, не будучи в состоянии произнести слова. Глядя на него, я говорила себе: „Все кончено, я его уже больше не увижу, я умерла для семьи“.

Как Мария в поэме:

Семью стараюсь я забыть мою,
Я стала ей в позор, быть может,
Какая страшная мечта!
Моим отцом я проклята.
А за кого?

М а з е п а:

Так я дороже тебе отца?
Молчишь...

М а р и я:

О, Боже!

М а з е п а:

Что ж? Отвечай.

М а р и я:

Реши ты сам.

Страшным стоном отозвалось в душе Раевского решение дочери, когда был поставлен роковой вопрос: отец или супруг тебе дороже? Как остро переживал он момент со времени определения судьбы зятя, видно из трогательного письма несчастного отца к бедной своей до-

¹⁾ Записки кн. М. Н. Волконской, стр. 60.

чери: „Итак, бесценный друг мой Машенька, ты извещена во всей полноте о твоём нещастии. Я скрывал от тебя, друг, сколько можно для того, чтобы продлить твоё счастливое неведение и для того, что я хотел быть сам начальным вестником у моей дочери, любовь моя к тебе, нежная родительская, даёт мне глас, если не утешить, по крайней мере, смягчить твою горестъ . . . Друг мой милый Машенька. Я ничего не могу сказать тебе больше, не ропщи на Бога, повинуйся его воле, береги своё здоровье для сына и для меня и всего нашего семейства, я пишу тебе со слезами, мой друг, это не первые и часто без них мне бывает тяжело“¹⁾.

Трогательны его скорбные размышления в письмах к другой своей дочери, Орловой. Рассудок его готов признать правдивость поступка дочери: „Если бы я знал в Петербурге, что Машенька едет к мужу безвозвратно и едет от любви к мужу, я бы сам согласился отпустить её навсегда, погresti её живую, я бы её оплакал кровавыми слезами и не отпустил бы её? Еслиб ты была в её несчастном положении, я б сделал то же“²⁾.

Но сердце старика не верит этой любви. У него прокрадывается недоброжелательное чувство к разлучнику-мужу. „Возвратясь из Петербурга, я узнал от брата твоего и сестер, что Маша им говорила, что муж бывает ей несносен. Муж и отец, погубив жену, как погубил Волконский, теряет все свои права на сердце жены своей, священные и светские законы уничтожают справедливо брак“.

Поступок своей дочери он готов, в порыве своей горести, объяснить „влиянием Волконских баб, которые, похвалами её геройству, уверили её, что она—героиня, и она поехала, как дурочка. Нельзя мне не негодовать на неё, она должна иметь более доверенности ко мне и к моему рассудку, чем к скверным Волконским, мне и спокойствие, и слава её должны быть драгоценны“³⁾.

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Письма Н. Н. Раевского к М. Н. Волконской от 2 сент. 1826 г. Писано по-русски.

²⁾ М. О. Гершензон. История молодой России, стр. 65. Перепечатано в биографическом очерке М. Н. Волконской, составленном П. Е. Щеголевым и предпосланном Запискам М. Н. Волконской (изд. 2-е, стр. 35).

³⁾ Ibid.

„Мать Репнина (т.-е. княгиня А. Н. Волконская),—пишет он в письме к сыну Александру, — собирается (на словах) ехать к сыну . . . Я был у кн. П. М. Волконского—придворный, упавший эгоист. Пусть Волконские кричат на меня, нужно только Машеньке с ними не расстраиваться“¹⁾).

Через эту горячность, гнев, даже проклятие, проглядывает нежно-любящее сердце отца.

„Неужто ты думаешь, друг Катенька, — пишет убитый горем отец, — что в нашей семье нужно защищать Машеньку... Машеньку, которая, по моему мнению поступила хотя неосновательно, потому что не по одному своему движению, а по постороннему влиянию действует, но не менее она в несчастии, какого в мире жесточе найти мудрено и выдумать даже. Неужто ты думаешь, что могут сердца наши закрыться для нее“²⁾

Но он и дочери прощает —
Пусть Богу даст ответ она.

Неприятное, даже враждебное чувство проскальзывает у бедного отца по отношению к зятю. Мы видели, он считает, что Волконский, погубив свою жену, теряет все права на ее сердце. Немного дошло писем Раевского-отца об этих событиях. Но в тех, которые дошли до нас, нет расположения к зятю. „Волконскому будет весьма худо, — сообщил Н. Н. Раевский-отец из Петербурга, — он делает глупости, запирается, когда все известно. Что будет с Машенькой? Он срамится“³⁾. Он пишет увещательное письмо зятю в крепость: „Князь Сергей! Ты называл меня отцом, то повинуйся отцу! Благородным полным признанием ты окажешь чувства вины своей, им одним уменьшишь оную. Не срамись! *Жены своей ты знаешь ум, чувства и привязанность к тебе*, несчастного она разделит участь, посрамленного . . . она умрет. Не будь ее убийцей“⁴⁾).

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо Н. Н. Раевского старшего сыну Александру от 13 авг. 1826 г. Письмо по-русски.

²⁾ Письмо от 17 апр. 1827 г к дочери Е. Н. Орловой. У М. О. Гершензон стр. 66—67; в биографическом очерке при Записках М. Н. Волконской, стр. 36—37.

³⁾ М. О. Гершензон. История молодой России, стр. 55.

⁴⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо от 27 января 1826 г в Петербурге. Писано по-русски.

Бедный отец старается, из-за любви к дочери, преодолеть свое нерасположение к зятю. „Если б Сергей,—пишет Н. Н. Раевский сыну Александру,—не показывал добрых чувств своих, я бы не останвился истребить в ней к нему уважение, следственно привязанность, она бы видела в нем отца своего сына, но не менее недостойного любви, но теперь считаю, что хотя ей тяжело будет любить своего мужа и быть с живым в вечной раздуке (Н. Н. Раевский в это время еще надеялся, что дочь не поедет в Сибирь) и знать его в только несчастном состоянии, но считаю, что мы *обязаны* любить его. К тому же, мой друг, Машенька молода еще, любовь к мужу будет ей щитом от заблуждений, коим никакой человек не может отвечать, чтоб не был подвержен“¹⁾.

В этом же духе он пишет и самой Марии Николаевне: „Муж твой заслужил свою участь, муж твой виноват перед тобою, перед нами, перед своими родными, но он тебе муж, отец твоего сына, и чувства полного раскаяния и чувства его к тебе все сие заставляет меня душевно сожалеть о нем и сохранять в моем сердце никакого негодования: я прощаю ему и писал, что прощение на сих днях“²⁾.

Как ни подавляет в себе неприязненное чувство к зятю старик Раевский, но нередко в письмах это чувство проскальзывает. Так, например, восставая всей душой против поездки дочери в Сибирь, он между прочим, опасается, что в Сибири у С. Г. Волконского характер сделается „несносным“³⁾.

Его враждебное отношение к родным Волконского нам уже известно. Но если отец из любви к дочери и щадя ее, умел подавлять в себе чувства неприязни к зятю, то братья Марии Николаевны не скрывали этого недружелюбия. Это и сказалось в момент сообщения больной, исстрадавшейся от болезни и неизвестности Марии о факте ареста ее мужа. „Папа,—пишет сестра Марии Николаевны, Софья Ни-

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо Раевского сыну Александру, Москва, в пач. августа 1826 г.

²⁾ Архив Волконского, т. II. Письмо Н. Н. Раевского М. Н. Волконской, от 2 сент. 1826 г. Письмо писано по-русски.

³⁾ Там же. Письмо Н. Н. Раевского брату П. Л. Давыдову от 9 ноября 1826 г. из Петербурга.

колаевна, в письме к Екатерине Николаевне Орловой,—не уменьшая его, С. Г. Волконского, вины, представил его поведение в таком выгодном для него свете, что Marie, сожалея об его заблуждении, утешается нелепою мыслью, что он высказал много твердости и благородства. Николай, напротив, обрисовал его в самых дурных тонах (может быть преувеличивая), что совершенно привел меня в отчаяние⁽¹⁾. Явный тон вражды и недружелюбия по отношению к Волконскому слышим мы в письмах братьев М. Н. „Что касается Волконского, пишет Ал. Раевский,—то нет такого ужаса, в котором он не был бы замешен, к тому же он держит себя дурно, то высокомерно, то униженнее, чем следует. Его все презирают, каждую минуту открывают ложь и глупости, он принужден сознаваться“⁽²⁾.

„Насчет Волконского, пишет он в другом письме, ничего не могу сообщить хорошего, теперь он ведет себя, по слухам, как фанатик идеи, но завтра я не ручаюсь, что он опять не начнет хныкать“⁽³⁾.

Узнав приговор, А. Раевский пишет сестре Орловой: „Я не думал, что разжалование и ссылка Волконского так расстроит меня: я был готов к этому, да и никогда не любил этого человека, а между тем мне больно и за него, не говоря о Маше“ . . .⁽⁴⁾.

Раевские, отец и сыновья, считали Волконского виновным в трагической судьбе его жены. Он был причиной тяжелых переживаний уже одним тем, что, определяя свой жизненный путь, он связал свою судьбу с судьбой ничего не знавшей юной дорогой им Марии. Как ни старался сдерживать свое раздражение на зятя отец Марии Николаевны, но мы уже видим, что с его уст не раз готово сорваться обвинение Сергея Григорьевича, что „он убийца“ своей жены, что он „исгубитель ее“, разрушитель ее счастья. Особенно это сказалось в письме к сыну Александру вскоре после приговора над декабристами. „Если поедет мать Волконского, тогда поедет и Машенька (в Сибирь). Если б действительно, спокойствие ее всегдашнее от сего зависело, тогда с

¹⁾ Архив Волконских т. II. Письмо от 5 марта 1826 г.

²⁾ М. О. Гершензон. История молодой России, стр. 66.

³⁾ Ibid., стр. 57.

⁴⁾ М. О. Гершензон. История молодой России, стр. 61.

огорчением души моей отпущу ее; если б он (т.-е. С. Г. Волконский) несчастлив был, *а не виновен*, тогда бы я послал ее; но без необходимости не соглашусь на отъезд ее. Князь Петр Михайлович Волконский изволит гневаться на своего шурина; жена его сумасбродная (т.-е. кн. Софья Григорьевна Волконская) хочет, *чтоб я пожертвовал дочью для ее брата, который* погубил жену невинную. Я не храню в душе моей ничего против Сергея Волконского, скорблю о нем в душе моей, *но не согласен жертвовать ему мою дочью*⁽¹⁾. В другом письме бедный отец называет Машеньку — „жертвой невинной“ (Архив Волк., т. II. Письмо от 17 дек. 1826 г.).

Разрушение счастья дочери и ее отъезд в Сибирь были причиной тяжелого горя ее отца и скорой его кончины (он умер через 2 года, в 1829 г.).

Всего лучше эта мысль выражена в письме Н. Н. Раевского младшего в Сибирь к Марии Николаевне (1832 или 1833 г.). Оно напечатано в Архиве Раевских²⁾.

„Любезная Маша, мой милый друг, я Вам уже писал по адресу, который Вы мне дали, но это письмо не дошло до Вас. Я пишу поэтому теперь по тому адресу, по которому Ваше письмо дошло до меня, т.-е. через III Отделение Собственной Его Величества канцелярии. Не удивляйтесь моему молчанию со времени 1826 года. Что бы я мог Вам сказать? Я и теперь повторяю Вам, что Вы не судья своему мужу; принести себя в жертву — добродетель женщины, и я меньшего от Вас не ожидал; мы дети своего отца. Вы мне пишете о своем муже с чувством горячего к нему преклонения (fanatisme). Не сердитесь на мой ответ. Я никогда не прошу ему, какое бы ни было его положение сейчас, безнравственности, с какой он, женись на Вас в тех условиях, в какие он сам себя поставил, сократил жизнь нашего отца и был причиной Вашего несчастья. Вот мой ответ, и Вы никогда не получите другого. Судьба Вашего мужа будет меня всегда интересовать, но лишь только благодаря Вам“.

1) Архив кн. Волконских, т. II. Письмо Н. Н. Раевского старшему сыну А. Н. Раевскому в нач. августа 1826 г., Письмо писано по-русски.

2) См. Архив Раевских, II, стр. 136—139. № 402.

Мать Марии Николаевны, Софья Алексеевна Раевская, не может простить дочери и ее мужу!

„Вы говорите,—пишет она в 1829 г. дочери в Сибирь,—в письмах к сестрам, что я как будто умерла для Вас. А чья вина? Вашего обожаемого мужа. Немного добродетели нужно было, чтоб не жениться, когда человек принадлежал к этому проклятому заговору. Не отвечайте мне, я Вам приказываю“. (Архив Волконских, т. I. Предисловие Б. Л. Модзалевского).

Сестры Марии Николаевны, судя по их письмам, еще пока не опубликованным, из Архива Волконских, прежде всего заботились участью отца. „Надо сказать,—говорит Б. Л. Модзалевский,—что боготворение отца в семье Раевских заслоняло собой все другие чувства, мы видели отзыв брата Николая о Волконском, сестры, конечно, втайне чувствовали так же. Тот факт, что она огорчала отца, казался сестрам более значительным, чем само горе сестры“¹⁾.

Как во многом близки переживания отца Марии Волконской к тяжелым и горьким думам отца другой Марии. Для старика Раевского участие Волконского в заговоре декабристов было „виною“, тяжелым проступком, а его брак при таких обстоятельствах с неведавшей ничего об этом невинной Марией был преступлением. Волконский, по словам отца Марии, „погубил жену невинную“, он разбил ее жизнь, а отъезд ее в ссылку за мужем—это вынужденная „жертва“, приносимая отцом, Мария — „жертва невинная“. Так думала и мать Марии Николаевны, судя по только-что приведенному письму, полному резких осуждений зятю.

Кочубей считал, что „старый Коршун (Мазепа) заклевал „голубку нашу“. Мария, этот „клад“ Кочубея, была отнята Мазепою, который, по словам матери Марии, „должным быть отцом и другом невинной крестнице своей... Безумец! На закате дней, он вздумал быть ее супругом“. Он погубил дочь („святой невинности губитель“), погубил и ее отца. Дочь же отвергла скорбную семью для Мазепы“...

Сознавал да и не мог не сознавать своей вины и сам Волкон-

¹⁾ Архив Волконских, т. I, П. 19, вступ. статья Б. Л. Модзалевского.

ский. Еще находясь в крепости, он имел там портрет своей жены и не имея возможности взять его с собой на каторгу, он оставил его на память своей сестре, сделал в под портретом надпись (по-французски): „Поручаю заботам моей доброй сестре ту, которая составила мое счастье, разбитое мною“. С. Г. Волконский много раз обвинял себя в разрушении счастья своей жены в письмах к ней. „Не обвиняй себя больше, мой бедный Сергей,—утешает его Мария Николаевна,—в том, что ты навсегда разрушил мое счастье. Этого не будет, если ты сохранишь чувство долга и веры, и если я буду иметь луч надежды соединиться с тобой вместе и нашим ребенком ¹⁾. „Да поддержит Бог,—пишет С. Г. Волконский своей сестре Софье уже из Сибири, — мою бедную мать, мою обожаемую жену, так страдающую. Но это от того горя, какое я им причинил“ ²⁾. В этот же день он пишет жене: „Передай мое глубокое и нежное почтение твоим родителям, постарайся получить у них для меня прощение и скажи им, что они не могут меня обвинять более того, чем я сам обвиняю самого себя за то несчастье, какое я заставил тебя пережить“ ³⁾. В следующем письме жене С. Г. повторяет слова: „Наша несчастная судьба тяжела для меня. Из-за участи, какую я заставил разделять тебя, м'нй ангел“ ⁴⁾.

И словно улавливая эту мысль и Раевских и самого Волконского, Пушкин пишет в своей поэме:

Ах вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозой,
Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань. . . .
Забылся я неосторожно
Теперь плачу безумства дань. . . .
Все, что цены себе не знает,

¹⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо М. Н. Волконской мужу от 28 июня 1826 г. из Александрии.

²⁾ Архив Волконских, т. II. Письмо от 5 окт. 1826 г. из Нерчинска.

³⁾ Там же. Та же дата.

⁴⁾ Там же. Письмо от 13 окт. 1826 г.

Все, все чем жизнь мила бывает,
Бедняжка принесла мне в дар,
Мне, старцу мрачному — и что же?
Какой готовлю ей удар? —

Трагедия М. Н. Волконской — жгучая борьба между чувством к мужу и дорогому отцу, горе последнего, приведшее чуть ли не к проклятию дочери — были хорошо известны не только близким, но и более широкому обществу. Лучше всего это покажет описание знаменитого прощального вечера в Москве у ее родственницы, кн. Зинаиды Волконской. На этом вечере 26 января 1826 г., как мы знаем, был и Пушкин. Памятный вечер этот описан несколькими лицами, прежде всего самой М. Н. Волконской, поэтом Веневитиновым и Зинаидой Волконской. Этот вечер нам так памятен в художественном изображении Некрасова.

Мы уже приводили описание этого вечера по запискам М. Н-ны; ее беседы с Пушкиным. Здесь я считаю уместным привести часть описания Веневитинова.

„Вчера я провел вечер, незабвенный для меня. Я видел во второй раз и еще более узнал несчастную княгиню Марию Николаевну Волконскую, муж которой сослан в Сибирь, и которая 6-го января сама отправляется в путь вслед за ним вместе с Муравьевой. Она нехороша собой, но глаза ее чрезвычайно много выражают. Третьего дня ей минуло двадцать лет, но так рано обреченная жертва кручины, эта интересная и вместе могучая женщина — больше всего несчастная. Она его преодолела, выплакала, источник слез уже иссох в ней. Она уже уверилась в своей судьбе и, решившись всегда носить ужасное бремя горести на сердце, повидимому, успокоилась. В ней угадываешь, чувствуешь ее несчастье, ибо она даже перестала и бороться с ним. Она хранит его в себе, как залог грядущего. Помнит, что она мать, и решилась спасти дочь свою, жертвуя сама собой. Прискорбно на нее смотреть и вместе завидно. Есть блаженство и в самом несчастье.

Она видит в себе божество, ангела-хранителя и утешителя двух существ в мире! Для них она, как Христос для людей, обрела себя на жертву — славная жертва! Утешительная мысль для меня! Она

теперь будет жить в мире, созданном ею собой. В вдохновении своем она сама избрала свою судьбу и без страха глядит в будущее.

Она чрезвычайно любит музыку. Музыка одна только и может согласоваться с ее чувствами в теперешнем ее положении... И что же согласнее музыки может раздаваться в душе нашей, тогда как все струны нашего сердца расстроганы сим чувством и сливаются в один вечный звук печали?

Она в продолжение целого вечера все слушала, как пели, и когда один отрывок был отпет, то она просила другого. До двенадцати часов ночи она не входила в гостиную, потому что у к. З. (княгини Зинаиды Александровны Волконской) много было гостей, но сидела в другой комнате за дверью, куда к ней беспрестанно ходила хозяйка, думая о ней только и стараясь всячески ей угодить. Отрывок из „Agnes des Maestro Paer“ был пресечен в самом том месте, где несчастная дочь умоляла еще несчастнейшего родителя о прощении своем. Невольное сближение злосчастия Агнессы или отца ее с настоящим положением невидимо присутствующей родственницы своей отняло голос и силу у Зинаиды Волконской, а бедная сестра ее по сердцу принуждена была выйти, ибо залилась слезами и не хотела, чтобы это заметили в другой комнате: ибо в таком случае все бы ее окружили, а она страшится, чуждается света, и это понятно. Легкомысленным, без сомнения, он показался скучным, как ни старались прервать глубокое, мрачное молчание некоторыми шутивными дуэтами. Но человек с чувством, который хоть изредка уже привык обращаться на самого себя и относить к себе все, что его ни окружает, необходимо должен был думать, много думать. Я желал в то время, чтобы все добрые стали счастливыми, а собственное впечатление сего вечера старался увековечить в себе самом. Но подобные движения души без того не пропадут¹⁾.

Все присутствующие на вечере, а естественно среди них Пушкин, глубоко почувствовали семейную трагедию Раевских, трагедию отца и дочери. Музыкальный отрывок был пресечен в том месте, где не-

¹⁾ Описание вечера Веневитиновым приведено в очерке П. Е. Щеголева. Записки М. Н. Волконской. Изд. 2-е, стр. 37—40.

счастливая дочь умоляла еще более несчастнейшего отца о прощении своем. И это сближалось с несчастьем Марии и ее отца. Отъезд Марии Раевской в Сибирь, соединение ее судьбы с судьбой мужа привели к трагическому исходу для ее отца. Нежно любивший ее престарелый отец, не допуская мысли, что он будет на старости лет покинут любимой дочерью, делавший все усилия, чтобы удержать ее, грозивший ей проклятиями — недолго переживал свое горе. Жизнь его укоротилась. И все близкие ставили это в связь с трагедией Марии. Мы приводили выше прямое обвинение Сергею Волконскому со стороны отца Марии Николаевны. Горе и страдания отца, как мы видели, были весьма очевидны.

М. Н. Волконская, находясь в Сибири вместе с мужем, часто переносилась мыслью к своим родителям.

И душу ей одна печаль
Порой как туча затмевает:
Она унылых пред собой
Отца и мать воображает.
Она сквозь слезы видит их
В бездетной старости одних,
И, мнится, пеням их внимают.

„Иногда,—пишет она из Сибири.—я представляю себе, что почувствуют мои родители при этом известии (т.-е. запрещении женам декабристов вернуться обратно), только в эти минуты мне бывает больно. Мой долг доставить им все утешения, какие в моей власти, и потому я страстно хочу, чтобы мой сын вернулся к ним на будущую зиму для того, чтобы его присутствие заменило им дочь, которой они во мне лишились“¹⁾. Та же мысль и в другом ее письме: „Я не сержусь на моих родителей за то, что они до сих пор лишали меня единственного утешения, какое для меня возможно, именно делить участь Сергея. Я знаю, что гораздо труднее страдать за своего ребенка, нежели за самого себя. и потому я не позволяю себе роптать. Наоборот, я счастлива, что могла показать им, как умею исполнять свой долг по отношению к ним. Я ждала терпеливо и оттого каждое мое действие

¹⁾ М. О. Гершензон. Русские прописки, т. I, М. 1915 г. Письма М. Н. Волконской из Сибири, стр. 20. Письмо к свекрови от 28 мая 1827 г.

сопровождалось благословениями моего досточтимого отца. Мне остается теперь доставлять им те утешения, какие еще в моей власти — вот почему я хочу, чтобы мой сын вернулся в мою семью“¹⁾.

В 1829 году Н. Н. Раевский скончался. „Я так мало,—пишет Мария Николаевна в своих Записках,—была подготовлена к этому, потрясение было так сильно, что мне казалось, что небо упало на мою голову. Я заболела... Я столько упрекала себя,—говорит бедная дочь в письме к свекрови,—за письма, которыми огорчала отсюда, обожаемого отца, а накануне своей смерти он говорил обо мне с похвалой и любовью, показывая мой портрет доктору Фишеру. Не могу Вам сказать, какую отраду доставили мне эти подробности“²⁾.

Как бы о себе говорит М. Н. в письме из Сибири к отцу декабриста Игельстрема: „Как бы ни было ужасно его (сына) положение здесь, ему тяжело только то, что он причинил Вам столько горя, и что его несчастная судьба заставила страдать ту, которая сейчас так великодушно готова посвятить себя ему. Как бы я была рада получить уверенность, что мое письмо к Вашей супруге от 18 февраля дошло до нее, и что Вы несколько успокоились. Верьте, Милостивый Государь, я всегда буду считать самым приятным для себя долгом сообщать Вам сведения о Вашем несчастном сыне и примите уверения в высоком уважении, которое питает к Вам преданная Вам

Мария Волконская³⁾.

Лежа на смертном одре, бедный отец примирился с дочерью, указывая на ее портрет, он сказал своему сыну: „Вот самая удивительная женщина, какую я знал“. Выбор, произведенный некогда Марией, оказался трагедией для отца.

Помните в Полтаве:

Послушай, если было б нам
Ему иль мне погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда.

¹⁾ М. О. Гершензон. Русские прощания т. I. М. 1915. Письма М. Н. Волконской из Сибири. Стр. 5—6.

²⁾ Письмо из Читы от 8 дек. 1829 г. напечатано в приложении к Запискам М. Н. Волконской. Изд. 2-е, стр. 192—193.

³⁾ Архив Раевских. № 623.

Погибнуть пришлось отцу. Мария предпочла стать оградой мужу.

Пусть смерть старика Раевского случилась уже после того, как написана была Пушкиным поэма. Но он — так интимно близкий семье Раевских, так чтивший старого генерала, бывший в такой дружбе с младшим сыном, главное, так нежно относившийся к Марии, мог ли он не знать семейной драмы (а мы видели, не один Пушкин знал ее, знали почти все—ср. вечер у Зинаиды Волконской) и не ясен ли был ему ее плачевный исход для огорченного отцовского сердца. Во всяком случае, драму как отца, так и дочери Раевских Пушкин близко знал.

В поэме „Полтава“ есть несомненная уже автобиографическая черта. На нее указал до меня П. Е. Щеголев. Вот что он говорит: „В самой „Полтаве“, которую Пушкин так трогательно и таинственно посвятил М. Н. Волконской, мы находим историю неразделенной любви. Пушкин, конечно, воспользовался своим опытом и вложил в описание этой любви (в сущности, для поэмы ненужное) много черточек субъективного. И с какой любовью, с каким тщанием он выписывал образ своего романтического казака“.

Между полтавских казаков,
Презренных девою несчастной,
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной.
Вечерней, утренней порой,
На берегу реки родной,
В тени украинских черешен,
Бывало, он Марию ждал,
И ожиданием страдал,
И краткой встречей был утешен.
Он без надежд ее любил,
Не докучал он ей мольбою:
Отказа б он не пережил.
Когда наехали толпою
К ней женихи,—из их рядов
Уныл и сир он удалился.

Он удалился со своей, утаенной в сердце, любовью.

„Не собственную ли свою историю,—спрашивает П. Е. Щеголев,—рассказывает в этих стихах Пушкин? Читая повесть сердечных страда-

ний казака, М. Н. Волконская должна была бы узнать „звуки приверженной ей души, глас преданной ей музы“¹⁾).

И, верно, добавим мы к приведенным строкам. К Марии Ник. наезжали женихи. Припомним влюбленного в нее Олизара, в стихотворном обращении к которому Пушкина чувствуется доля личного чувства, скажем некоторого удовлетворения (1824).

И тот не наш, кто с девой вашей
Кольцом заветным сопряжен;
Не выпьем мы заветной чашей
Здоровье ваших красных жен.
И наша дева молодая
Привлекши сердце поляка,
Не примет гордою душою
Любовь народного врага.

Мария соединила свою жизнь с Мазепой, но казак не разлюбил ее:

И тут Мария сохранила
Над ним привычные права.
Но если кто, хотя случайно,
Пред ним Мазепу называл,
То он бледнел, терзаясь тайно,
И взоры в землю опускал.

Любопытно, в белой рукописи поэта есть место, пропущенное Пушкиным для печати:

Убитый ею, к ней одной
Стремил он страстные желанья
И горький ропот, и мечтанья
Души кипящей и больной.
Еще хоть раз ее увидеть
Безумной жаждой он горел:
Ни презирать, ни ненавидеть
Ее не мог и не хотел²⁾.

Как относился Пушкин к Волконскому—мы не знаем. Во всей переписке Пушкина сохранилось лишь одно письмо Волконского с из-

¹⁾ П. Е. Щеголев. Пушкин, стр. 180—181.

²⁾ Ср. Анненков. Материалы для биографии Пушкина, изд. П. В. Анненкова. СПб. 1855, т. I, стр. 204.

вещением об его помолвке с М. Н. Раевской. Но дух письма имеет, несмотря на выражение дружбы, какой-то натянутый, сухой характер.

„Имея опыт вашей ко мне дружбы и уверен будучи, что всякое доброе о мне известие будет Вам приятным, уведомляю Вас о помолвке моей с Марией Николаевной Раевской. Не буду Вам говорить о моем щастии, будущая моя жена была Вам известна.

..... Пробуду несколько времени в Киеве, буду в поместьях новых моих родственников и там, как и здесь, буду часто о Вас говорить и общие воспоминания о Вас будут в вашу пользу“¹⁾. Ответа Пушкина неизвестно.

Как относился Пушкин к Волконскому после событий 24 декабря? Сведений нет.

Думать можно, преданный всем сердцем семейству Раевских, он мог смотреть на Волконского их глазами. В написанной Пушкиным эпитафии на смерть малолетнего сына М. Н., вскоре после отъезда матери в Сибирь, младенец „благословляет мать и молит за отца“. Может—за отца можно было лишь молить? . . .

Чтобы пополнить свои рассуждения по поводу автобиографических элементов в „Полтаве“, следует отметить тот тон осуждения смуты, юношеских мечтаний, удалой юности, которая, „своеволием пылая“, роптала, „опасных алча перемен“, „жаждала народной войны“, „мятежного крика“, „пора, пора“.

И с другой стороны, тон возвеличения самовластия, безусловного осуждения „изменников русского царя“.

Пусть это будет апофеозом самодержавия Петра—исторического, прошлого явления.

Но не забудем, что, как уже было неоднократно замечено историками: общественных взглядов Пушкина, 1828 год—когда писалась Полтава—был периодом уже значительного поворота Пушкина в сторону примирения с правительством, с императором, с осуждением прежних своих и своих товарищей вольнолюбивых идей.

Ведь уже почти два года перед этим (1826) написаны знаменитые „Стансы“, где прямо выражено сопоставление двух самодержцев,

¹⁾ Переписка А. С. Пушкина, под ред. И. И. Саятова, т. I, стр. 138.

Петра I и Николая I. А чем дальше—таких „примирительных“ мотивов было все больше и больше.

В том же 1826 году была написана Пушкиным записка „о народном воспитании“. В ней Пушкин касается декабризма. „Пусть,— говорит проф. П. Н. Сакулин в своем недавно вышедшем прекрасном и удивительном историко-литературном эскизе „Пушкин и Радищев“¹⁾,— эта записка составлена по поручению правительства, но поэт выразил в ней и свое собственное мнение“. П. Н. Сакулин находит, в противоположность некоторым другим пушкинистам, что „пушкинского“ в ней содержится гораздо больше, чем обыкновенно полагают. Подвергнув анализу эту записку Пушкина, почтенный исследователь приходит к выводу:

„Говоря о декабристах, Пушкин отрицательно высказывается о самом плане восстания и склонен объяснять его возникновение в умах русской молодежи 20 г.г. тем, что вследствие недостаточности своего образования, вследствие поверхностного знакомства с историей, она увлеклась „чужеземным идеологизмом“, не поняла особенностей русской истории и вообще легкомысленно отнеслась к законам политической жизни“.

Не так давно П. О. Морозов нашел и раскрыл отрывок из сожженной песни „Евгения Онегина“ (Пушкин и его современники XIII, 1910). Стихи эти написаны тайнописью, криптограммой. Эти строки более или менее разобраны П. О. Морозовым, позднее Д. Соколовым (Пушкин и его современники XVI, 3), а затем Н. О. Лернером (газ. „Речь“ 1913 г., № 155 и в VI томе соч. Пушкина изд. Брокгауза и Ефрона, стр. 212—215). По замыслу Пушкина, Евгений Онегин должен был после своих путешествий и скитаний попасть в круг декабристов. Пушкин выводит в этой X песне своего романа различных деятелей этого политического движения. Из тех, даже, сравнительно, немногочисленных строк, какие дошли до нас, ясно, что Пушкин в 1830 г. (следов., через 1½—2 года после написания „Полтавы“) относился резко отрицательно к самому движению, что, впрочем, не стоит в

¹⁾ Проф. П. Н. Сакулин. Пушкин. Историко-литературный эскиз. М. 1920 г. Стр. 46—49.

противоречии со всеми другими политико-общественными взглядами Пушкина (Ср. статьи и исследования Слонимского, Водовозова и, в особенности, упомянутую обстоятельную работу П. Н. Сакулина).

Вполне справедливо говорит Н. О. Лернер по поводу указываемых сейчас строк X главы „Евгения Онегина“: „Вполне ясно несочувствие Пушкина декабристам, как общественным деятелям. Как людей, поэт их жалел и громко высказывал это (в своих стихотворениях и посланиях), и теперь, быть может, он выразил это чувство, если сколько-нибудь соответствуют подлиннику чтение и комбинация о ханже (кн. А. Н. Голицине, гонителе декабристов) и о милости царя, по манию которого Сибирь возвратит изгнанников их осиротелым семьям“... .

В данной песни Евгения Онегина или, точнее, в немногих дошедших из нее отрывках, выясняется различное отношение Пушкина к декабристам—членам Северного и членам Южного Тайных Обществ. Первых Пушкин считает легкомысленными людьми, а вторых—более серьезными и решительными, хотя, конечно, по общему тону дошедших стихов видно, что едва ли бы и их Пушкин оставил без осуждения и, может быть, даже более резкого, чем первых.

Нам интересны эти немногие строки не только для оценки взглядов Пушкина на декабристов. Нам кажется, что есть нечто общее в изображении этих заговорщиков XIX века с заговорщиками эпохи Петра. Считаю нелишним напомнить эти стихи из сожженной песни „Евгения Онегина“, имеющие отношение к декабристам:

Россия присмирела снова,
И пуще Ц(арь) пошел кутить,
Но искра пламени инова
Уже издавна может быть

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина
Они за рюмкой русской водки

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Пикиты (т.-е. Муравьева),
У осторожного Ильи (т.-е. кн. Долгорукова).

Все это были разговоры
Между лафитом и клико,
Куплеты, дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов
по пустякам
Везде беседы недовольных

Так было над Неввою льдистой.
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Ту(льчина)
Где Вит(генштейновы) дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,
Дела иные уж пошли.
Там П¹) (доставал) кинжал
И рать набатом
Холоднокровный Генерал
В союз свободы вербовал
.
И полон дерзости и сил
(Порыв) минуты (торопил).

Интересно это противопоставление знаменитых резким витийством молодых умов, в сердца которых начинала проникать мятежная наука—„иным делам“ южных заговорщиков, хладнокровному генералу.

Ведь и в „Полтаве“—мы видим то же противопоставление „легкомысленного восторга“ друзей кровавой старины—спокойствию и хладнокровию Мазепы, который, „храня суровость обычайну, спокойно ведал он Украину“. Душа его холодна: „покрыло неподвижным льдом“.... „Но хладно сердца своего он заглушает ропот сонный“. „Он хладно потупляет взор“.....

Любопытны некоторые выражения в отрывке о декабристах при сравнении с «Полтавой»:

1) Вероятно, Пестель.

*„Но искра пламени нова
Уже издавна может быть“.*

В «Полтаве»:

*Украина глухо волновалась
Давно в ней искра разгоралась*

Или:

*И замысел давнишних дней
Быть может*

Это все дает нам возможность поставить вопрос, не пользовался ли Пушкин при изображении заговора против царя в Украине знакомыми ему впечатлениями о современных ему заговорщиках-декабристах, воспоминания о которых так тесно связаны с Каменкой тенистой, где Пушкин видел декабристов, и где жила Мария.

Разъяснению общественно - политических взглядов Пушкина, поскольку они отразились в Полтаве, может много дать сравнительное изучение этой поэмы с той поэмой, которая послужила толчком и отчасти отправным пунктом для „Полтавы“. Я разумею поэму Рылсева „Войнаровский“ (написанную в 1823 г.). Поэма эта, тоже посвященная Мазепе и его племяннику Войнаровскому, является, в противоположность Полтаве, гимном свободы, вольности. Совершенно иным является нам образ Мазепы. Мазепа обрисован совершенно иными чертами. Устами Войнаровского поэт дает блестящую характеристику этого гетмана: он говорит о нем, как о великом патриоте, самоотверженно отстаивающем свободу и независимость своей родины. Люди, близкие к Мазепе, глубоко привязаны к нему, чтут в нем главу народа и ценят его патриотические стремления. Спасая от оков Украину, Мазепа не жалеет для нее ни своей жизни, ни чести; чтобы возвратить ей прежнюю свободу, он изменяет Петру и переходит на сторону шведов. Полтавское поражение, как сам он признается Войнаровскому, разрушило все его идеалы:

*Одно мгновенье все решило,
Одно мгновенье погубило
На век страны моей родной
Свободу, славу и покой.*

Вся поэма дышет свободолюбием: несмотря на некоторые, делаемые поэтом, осуждения Мазепы в его борьбе с Петром, для читателя остается лейтмотивом поэмы—борьба с самовластьем:

Уж близок час, близка борьба
Борьба свободы с самовластьем.

Героем поэмы является сосланный в Сибирь племянник Мазепы, преданный делу родины и свободы, Войнаровский. Первоначально вся поэма носила название; „Ссылный“. Прекрасны, и что поражало и поражает в поэме, чрезвычайно точны описания Сибири, быта политических ссылных. Рылеев не бывал в Сибири... Но эта верность внешнему сибирскому быту и природе, эта замечательная чуткость в изображении душевных переживаний сосланных в хладную Сибирь борцов за свободу—поразили читателей еще больше тогда, когда менее чем через два года многим близким друзьям и товарищам Рылеева пришлось испытать участь Войнаровского, а самому автору погибнуть на плахе. Поэму стали считать „пророческой“.

„Нельзя читать без волнения,—писал один современник,—пророческой поэмы Рылеева „Войнаровский“, где Рылеев себя олицетворяет под именем Мазепы, но сам становится в тень, заслоненный поэтической фигурой Александра Бестужева, своего самого лучшего друга“.—„Происхождение этой поэмы,—говорит другой современник (путешественник по Сибири, Ерман),—можно объяснить только тем, что, за несколько месяцев до смерти, поэту стало ясно и видимо, в нервном ли возбуждении, или в состоянии предвидения, как оборвутся нити той ткани, над которой он втайне работал. Он духом видит, как все силы заговорщиков рассеиваются, как друга его, Бестужева, вытолкнули из человеческого общества; каждую малейшую черту его страданий предвидит и самого себя зрит в руках палача“.

„Поэма Рылеева приобрела,—говорит ак. Н. А. Котляревский,—особый смысл лишь после 14 декабря, когда не могли надивиться ее пророческому дару предвидения; вероятно, в силу этого она и подверглась цензурным преследованиям“¹⁾.

1) Н. А. Котляревский. Рылеев, стр. 100, 101, 108.

Не мог не поразить и еще один образ в поэме, также имевший глубоко пророческий характер. Это образ жены Войнаровского, юной казачки, пришедшей к нему в „хладную Сибирь“, чтобы с ним разделить его участь.

„Раз у якутской юрты я,

повествует Войнаровский Миллеру, печально встретившему его в Сибири,

Стоял под елью одинокой;
Мягель шумела вокруг меня
И свирепел мороз жестокий.
Передо мной скалы и лес
Грядой тянулись безбрежной;
Вдали, как море, с степью снежной
Сливался темный свод небес.
От юрты вдаль тальник кудрявый
Под снегом слался между гор.
В боку был виден черный бор
И берег Лены величавой.
Вдруг вижу, женщина идет,
Дохой убогою прикрыта,
И связку дров едва несет,
Работой и тоской убита.
Я к ней И что же? Узнаю
В несчастной сей, в мороз и вьюгу,
Казачку юную мою,
Мою прекрасную подругу!
Узнав об участи моей,
Она из родины своей
Пошла искать меня в изгнание.
О, странник! Тяжко было ей
Не разделять со мной страданье!

В поисках мужа

— добрая моя жена,
Судьбой гонимая жестокой,
Была блуждать осуждена,
Тая тоску в душе высокой.
Ах, говорить ли, странник мой,
Тебе об радости печальной

При встрече с доброю женой
В стране глухой, в стране сей дальней?
Я ожил с нею; но детей
Я не нашел уже при ней“.

„Под влиянием чего,—спрашивает автор капитального исследования о Рылееве, г. Маслов,—сложился у Рылеева такой блестящий образ супруги-гражданки? Может быть, здесь отразились черты жен тех декабристов, кн. Трубецкой и кн. Волконской, которым, вскоре после 14 декабря 1825 г., пришлось разделить участь казачки и пойти в изгнание вслед за своими мужьями. Может быть, зная доблестный их характер, Рылеев предчувствовал их судьбу и, таким образом, намечал сюжет „Русских женщин“ Некрасова“.¹⁾

„Полтава“ Пушкина сложилась под сильным впечатлением рассмотренной поэмы Рылеева. Пушкин был в восхищении от нее. В письмах к брату и А. А. Бестужеву Пушкин писал: „Войнаровский полон жизни“, „он несравненно лучше всех его дум“, „лучше всего, что он писал“. „Очень знаю, что я учитель его (Рылеева) в стихотворном языке, но он идет своей дорогой. Он в душе поэта Я опасуюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел к тому случай—да черт его знал. Жду с нетерпением Войнаровского и перешлю ему все замечания. Ради Христа! Чтобы он писал, да более, более“²⁾. Особенно нравились Пушкину некоторые места в поэме Рылеева: „У него есть какой-то палач с засученными рукавами, за которого бы я дорого дал“. Как известно, эта сценка почти целиком перенесена Пушкиным в „Полтаву“. Самому Рылееву Пушкин писал: „Думаю, что ты получил уже замечания мои на Войнаровского. Прибавлю одно: везде, где я ничего не сказал, должно подразумевать похвалу, знаки восклицания, прекрасно и проч. Полагая, что хорошее писано тобой с умыслу, не счел я за нужное отмечать его для тебя“.³⁾

¹⁾ В. И. Маслов. Литературная деятельность Рылеева. Киев 1912.

²⁾ Переписка Пушкина. Под ред. В. И. Саятова, т. I, стр. 196—197.

³⁾ Ibid, стр. 219—220.

Ближайшее сличение обеих поэм показывает, как сильно было влияние Рылеевского „Войнаровского“ на „Полтаву“ Пушкина в отдельных образах, картинах и словесных оборотах. Но была и другая, идеологическая сторона, общественно-политические взгляды, хотя бы и проявленные в истолковании исторического сюжета. Здесь Пушкин сильно разошелся с Рылеевым и, вопреки симпатичному образу Мазепы у Рылеева, борца за свободу своей родины, он создал своего мрачного Мазепу—„изменника русского царя“.

На политический тон своей поэмы, именно в трактовании образа Мазепы, указывает сам Пушкин в своем предисловии к „Полтаве“: „Некоторые писатели (разумеет Рылеева) хотели сделать из Мазепы героя свободы, нового Богдана Хмельницкого“. Но Пушкин с этим в корне не согласен—и вся поэма дальше служит этому доказательством.

„Романтику, певцу народной свободы (т.-е. Рылееву),—говорит Козловский, посвятивший очень интересный этюд „Два образа Мазепы“,— отвечал реалист-государственник, певец петровского государства“¹).

Но, спросим мы, одна ли только разница в трактовании Мазеповского движения наблюдается у обоих поэтов? Интересно просмотреть и сравнительно изучить обе поэмы для уяснения общих государственных и общественных взглядов Пушкина в эпоху написания „Полтавы“. Нет ли здесь и более современного для Пушкинской эпохи?

Обратимся к нашей теме.

„Полтава“, как видим, создалась под влиянием Рылеевской поэмы. Сама ее тема, не только в исторической части, но и романтической, дана поэмой „Войнаровский“. Сам Пушкин говорит об этом: „Прочитав первый раз стихи (как-раз из Войнаровского)

„Жену старадальца Кочубея
И обольщенную им дочь

я изумился, как мог поэт пройти мимо столь странного обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами исторические характеры — и

¹ Л. Козловский. „Два образа Мазепы“ в газете „Понедельник Народного Слова“. М. 1918 г. № 5, 20 мая.

немудрено и невеликодушно. Клевета и в поэтах всегда казалась мне непохвальною. Но в отношении Мазепы пропустить столь разительную черту было непростительно²⁾.

Итак, на образ будущей Марии натолкнула Пушкина поэма Рылеева. Что мудреного в том, что образ этот, о котором лишь сделан намек у Рылеева, ассоциировался у Пушкина с подробно развитым другим женским образом той же поэмы Рылеева, юной казачки, с сознанием своего долга последовавшей в Сибирь за сосланным туда мужем. И как тут было не придти на память поэту другой юной женщине, только недавно ушедшей в Сибирь за политическим заговорщиком XIX века—Волконским. Мы видели, как много давала поэма Рылеева для невольного сближения ее повествования и отдельных образов с разразившейся в 1825 году политической бурей — восстанием декабристов.

Как естественно, что перед очами Пушкина, пока он читал „Войнаровского“, а затем создавал, пользуясь этой поэмой, свою „Полтаву“, вставал дорогой его сердцу образ Марии Раевской-Волконской, и как естественно он мог тревожиться о ней и ее судьбе, когда читал у Рылеева про юную казачку:

Она с улыбкою приветной
Увяла в цвете юных лет
Безвременно, в Сибири хладной,
Как на иссохшем стебле цвет
В теплице душевной, безотрадной.

И разве могла не тревожить его неизвестность дальнейшей судьбы Марии Волконской? Скажем словами „Полтавы“ о Марии:

— Ее страданья
Ее судьба, ее конец
Непроницаемою тьмою
От нас закрыты.

²⁾ Соч. Пушкина, под ред. Венгерова. Изд. Брокгауза и Ефрона, т. V, стр. 426.

И всплывала в встревоженной душе Пушкина вновь утаенная его любовь, и из глубины своего сердца он взывал к ней в посвящении к „Полтаве“:

И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе
Сибири хладная пустыня,
Последний звук твоих речей,
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

Книгоиздательство „ЗАДРУГА“.

МОСКВА

**КНИЖНЫЙ СКЛАД: Крестовдзвиженский, 9.
Тел. 23—25.**

МАГАЗИН: Моховая ул., 20.

Новые книги о Пушкине:

Чулков, Г. И. Арион (сборник статей).

Мякотин, В. А. Пушкин и декабристы (готовится к печати).

П Е Ч А Т А Е Т С Я :

Розанов, И. Н. Пушкинская плеяда.

Книгоиздательство „ЗАДРУГА“.

ПАМЯТИ В. Г. КОРОЛЕНКО:

Батюшков, Ф. Д. — В. Г. Короленко, как человек и писатель.

„Памяти В. Г. Короленко“. Сборник статей **А. Г. Горнфельда, В. Н. Фигнер, А. А. Кизеветтера, В. А. Мякотина, Н. М. Мендельсона, В. А. Розенберга** и др.

Козловский, Л. — В. Г. Короленко (Опыт литературной характеристики).

Портрет **В. Г. Короленко**.

В. Г. Короленко в его письмах. 1883 — 1921 г.г.
Письма к **И. П. Белоконскому**.



ПЕЧАТАЕТСЯ И ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ:

В. Г. Короленко. — История моего современника,
т. IV (последний).



Книгоиздательство „ЗАДРУГА“.

„ГОЛОС МИНУВШЕГО“

**ЖУРНАЛ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ**

1920—21 г.г. (в одной книге).

В. Г. Короленко — История моего современника (т. IV).
Л. Дейч—Южные бунтари. **М. Р. Попов**—К истории рабочего движения в конце семидесятых годов. **С. Мельгунов** — Встречи.
Г. А. Лопатин. **Е. А. Шаховская** — Дневник и письма 1826—27 г.г. **М. Цявловский** — Письма А. С. Пушкина. **В. А. Розенберг**—Перед свежей могилой (памяти В. Г. Короленко).
А. А. Кизветтер—Мемуары Витте, и проч.

№ 1 за 1922 год.

В. Г. Короленко—„Земли, земли!“. Его же—История моего современника (т. IV, окончание). **В. Быстренин** — Уходящее.
Л. Ратаев.—Письма к Зубатову. **А. Ф. Кони**—Житейские встречи.
В. Алексеев—Студенческий кружок Аргиропуло и Зайчневского.
С. Мельгунов—Ап. Григорьев и „Современник“. **А. Н. Савин**—Воспоминания Бисмарка и переписка Шувалова с Гирсом, и проч.

№ 2 за 1922 год

ПЕЧАТАЕТСЯ И ВЫЙДЕТ В ОКТЯБРЕ С. Г.

Борис Соколов

Кн. Мария Волконская
и
Пушкин

Задруга
1922.